

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Мы публикуем две рецензии на книгу Марины Могильнер «Ното impregii: История физической антропологии в России».

Сказать, что они противоположны — значит ничего не сказать. И по исходным позициям авторов, и по их отношению к рецензируемой книге, и даже по стилю эти рецензии полярны, да и авторы их во всех отношениях непохожи. Один — известнейший физический антрополог, другой — специалист по современной социальной антропологии. Одному книга нравится, второй считает ее крайне вредной. У одного тот факт, что рецензируемая книга — часть проекта редколлегии журнала «Ab Impregio» по созданию «новой имперской истории», вызывает одобрение и симпатию, у другого — саркастическое неприятие. Даже то, что книга Могильнер опирается на большой фактический материал, в том числе архивный, для одного рецензента — признак ее солидности («внушительный труд, опирающийся на множество новых архивных источников

и солидную историографическую базу»), для второго — удивительный и раздражающий факт: да, Могильнер очень много прочла, но все не впрок («парадоксальное сочетание начитанности с невежеством, фантастическая кривозеркальность в угоду идеологическому проекту»).

У любого читающего эти рецензии возникает желание поспорить. Возникает оно и у редколлегии. Можно было бы поспорить с А. Козинцевым, который удивляется, почему российские физические антропологи должны получать сведения о своей науке из рук историка и филолога. Можно было бы поспорить с Е. Мельниковой, которая считает, что в России нет исследований, посвященных социальному контексту науки, в том числе ее социальной истории. Можно было бы осудить резко полемическую, «идеологическую» интонацию одной рецензии и оспорить подчеркнуто отстраненный тон второй. Можно было бы найти в обеих рецензиях утверждения, которые вызывают сомнения своей резкостью, безапелляционностью, однобокостью. Можно было бы долго и страстно рассуждать о сравнительных достоинствах и недостатках классического структурализма и постмодернизма, позитивизма и «нового историзма»...

Наверное, у каждого члена редколлегии есть по этому поводу свое мнение. Однако дело редколлегии журнала — не осуждать, оспаривать или выносить окончательный вердикт, а давать возможность высказывать различные мнения и стимулировать дискуссию. Поэтому мы публикуем обе рецензии в порядке их поступления в редакцию и надеемся (даже уверены), что эти тексты не оставят наших читателей безучастными к тем весьма и весьма серьезным вопросам, которые возникают от столкновения этих полярных точек зрения на цели, задачи и вектор развития современной антропологии.



Могильнер М. *Ното imperii. История физической антропологии в России.* М.: Новое литературное обозрение, 2008. 512 с.

Наука минус наука

Марина Могильнер прежде не сталкивалась с физической антропологией. Физические антропологи, в свою очередь, прежде не сталкивались с Мариной Могильнер. Жили себе порознь и жили. Но вот встреча произошла, и притом драматичная. Ее обстоятельства станут понятнее, если мы обозначим главные вехи творческой биографии автора. Марина Могильнер училась в Казанском университете, доучивалась в Центральном-Европейском в Будапеште. Кандидатскую («Художественный текст как исторический источник») защитила в Казани. Степень доктора философии получила в США (тема диссертации — отражение политического радикализма в литературе); ее книга на эту тему опубликована издательством «Новое литературное обозрение» в 1999 г. То же издательство выпустило и рецензируемый труд.

Александр Григорьевич Козинцев

Музей антропологии и этнографии
им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург
agkozintsev@gmail.com

Могильнер — соредатор журнала «Ab Imperio», издаваемого в Казани, но аффилированного с Американской ассоциацией содействия славянским исследованиям. Подавляющее большинство членов редакционного совета — западные ученые. Направление журнала — «исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве». Что же касается «НЛО», то оно, по словам Могильнер и ее коллег, «реально формирует профессиональные стандарты в гуманитарной сфере, пересматривает (и отменяет) дисциплинарные идентичности и географические границы профессионального сообщества. То, что западные историки получали “из первых рук”, т.е. от самих антропологов, социологов и философов, российские историки получают из рук продвинутых российских филологов» [Глебов, Могильнер, Семенов 2003].

И вот еще одна «дисциплинарная идентичность» пересмотрена и отменена. На сей раз печальная участь постигла российскую физическую антропологию. Для каждого, кто знаком с постструктуралистскими течениями западной мысли и особенно с «новым историзмом», мощным потоком хлынувшим из американской академии в наше западно-ориентированное научное сообщество и смывающим все на своем пути, ничего особенно неожиданного в этом нет. Не мы первые, не мы последние. И все-таки хотелось бы полюбопытствовать: почему весть о судьбе нашей науки нам, российским физическим антропологам, суждено было получить непременно из вторых рук? Ладно бы из рук близкого коллеги, но из рук филолога и историка, пусть и «продвинутого»... Что за странный, окольный путь движения научных идей?

То, что мы — позитивисты, безнадежно отставшие от времени и застрявшие в рамках «дисциплинарной идентичности»; то, что мы — провинциалы и маргиналы в глобализованном постсоветском мире; то, что наша закоснелость связана с униженностью, а униженность вызвана маленькими зарплатами, — все это российским ученым, не имеющим степени Ph.D., уже было в доступной форме растолковано новыми истористами (О. Проскуриным и другими) на страницах журнала «Новое литературное обозрение». И все-таки... Если «продвинутые» филологи и историки (те, которые Ph.D.) «реально формируют профессиональные стандарты в гуманитарной сфере», то тут им и карты в руки, но физическая антропология, казалось бы, на то и физическая, чтобы иметь какое-никакое отношение к сфере естественно-научной.

А с другой стороны, с чего это мы взяли, что наш продуваемый всеми ветрами научный дом свободен от постоя и погрома? Когда продвинутые в западном направлении филологи и исто-

рики еще и на свет не родились, наши родные отечественные философы уже предупреждали нас о возможных последствиях нашей идейной отсталости. Критерии продвинутости, правда, были другими: сейчас это Ph.D., западные гранты и, по возможности, западная зарплата, а тогда — чуткий нос на марксистско-ленинскую диалектику и актуальные задачи коммунистического строительства. Но критерии критериями, они исторически проходящи, а вот продвинутость нужна во всякую эпоху. Кстати, и критерии, если говорить не о политической оболочке, а о сути, не столь различны, как могло бы показаться. Еще в 1949 г. академик М.Б. Митин четко и ясно предостерег нас: «Было бы неправильно думать, что естественные науки — это науки, которые стоят вне общественных интересов, вне и над вопросами классовой борьбы». Прямо как сегодня написано. Кто из новых историков под этим не подпишется? Да ведь и Фуко, и Кристева не зря симпатизировали Мао. И не спастись позитивистам от ледяного ветра философской критики науки. Генетики и кибернетики попытались было отгородиться от общественных интересов рамками дисциплинарной идентичности, за что и поплатились. А мы чем лучше?

«Многие полагают, что историей может заниматься любой, и это, вероятно, правда», — так считают Могильнер и ее коллеги [Там же]. Что касается истории физической антропологии, то могу подтвердить — сущая правда. Действительно, любой, по крайней мере в наши дни. Доказательство тому — хотя бы многочисленные книги В.Б. Авдеева, электромеханика по образованию, расиста и нациста по убеждениям. Да и сама антропология, по словам соавтора Авдеева, бывшего депутата Госдумы от фракции «Родина» А.Н. Савельева (вместе с Авдеевым он активно издает расистскую литературу), — «наука не бог весть какой сложности. Это не квантовая механика и не теория относительности. Здесь нет ничего сложного, что не мог бы освоить и понять человек с высшим образованием любого профиля, привыкший размышлять и анализировать <...> Государство минимально оплачивало порой подвижнический труд ученых-антропологов. За долгие годы в этой сфере, лишенной средств для развития, сложился бюрократический слой, который не в состоянии был осмыслить наследие основателей антропологии» [Савельев 2009]. Знакомо, знакомо, все это мы уже читали в «НЛО». Но обратимся наконец к рецензируемой книге.

«По сути, — написано на первой же странице введения, — это первая история российской антропологической мысли, о богатстве и разнообразии которой не подозревают не только современные историки, но и антропологи, изучающие постсоветское (постимперское) пространство, и даже те, кто пытается

найти в “русской расовой теории” предшественника и вдохновителя современного русского национализма» (С. 5). «Даже те» — это Авдеев. Несмотря на «даже», указывающее, что Авдеев в целом все-таки ближе к истине, чем прочие (в том числе, видимо, чем сами физические антропологи, пребывающие по части собственной науки в полной слепоте), Могильнер пытается отгородиться от него, называя труды Авдеева «идеологическим проектом». Аргумент явно несостоятельный. А у нее что же — проект не идеологический?

Прошу понять меня правильно. Разрази меня гром, если я хоть в глубине души поставлю Могильнер на одну доску с Авдеевым. Тот — пещерный мракобес, тогда как Могильнер — носитель наиболее прогрессивнейших исследовательских парадигм. Писаниями Авдеева должна заниматься прокуратура и только она (о наших безуспешных попытках напомнить прокуратуре об этой ее обязанности см., например: [Козинцев 2008])¹. Могильнер между тем член профессионального сообщества, хоть и далекого от физической антропологии, но зато продвинутого, и решительно ничего подсудного в ее сочинении я не усматриваю. И все-таки я позволю себе обозначить пять пунктов, по которым, в меру моего разумения, между обоими мыслителями намечаются довольно нетривиальные параллели. 1) Оба не имеют к физической антропологии ни малейшего касательства; 2) обоим эта наука (как, видимо, и наука вообще) несколько не интересует; 3) обоим интересует политика и только она; 4) оба не видят разницы между расоведением и расизмом; 5) оба уверены, что расизм имеет в России вообще и в российской науке в частности глубокие исторические корни. Различия касаются, в сущности, только оценок: что для Авдеева хорошо, то для Могильнер плохо.

Итак, «первая история российской антропологической мысли». Именно первая, а не вторая, не сто двадцать вторая. И снова, чтобы не было никаких сомнений: «Книга посвящена “истории остававшейся до сих пор совершенно неизученной российской физической антропологии”» (С. 18). Да, буквально так, черным по белому: «совершенно неизученной». Не было книги М.Г. Левина «Очерки по истории антропологии в России», не писали ничего на этот счет ни Г.Ф. Дебеч, ни В.П. Алексеев, ни Я.Я. Рогинский, ни Б.Е. Райков, ни В.В. Гинзбург, ни Т.Д. Гладкова, ни М.И. Урысон. Приснилось

¹ Другие статьи антропологов в данном сборнике также посвящены Авдееву. См. реакцию А.Н. Савельева, который именует нас «руссофобами» и «паранормальными учеными, проспавшими целую эпоху и погубившими свою научную жизнь ошибочной методологией» <<http://savelev.ru/book/?ch=709>>. Достается нам, одним словом, со всех сторон. Да и поделом — не поспеваем мы за передовыми течениями общественной мысли.

нам все это. Книга Н.Г. Залкинд о московской школе антропологов мельком упомянута два раза, в сносках. Неинтересны эти авторы Марине Могильнер. Позитивисты, живущие в отсталой империи, способны лишь копаться в мелочах, но осмыслить собственную деятельность им не дано. Вносить смысл, озирать с высоты птичьего полета, обобщать — это дело продвинутых. Впрочем, ни место жительства, ни место издания сами по себе не гарантируют успеха. Так, изданная в США двухтомная «Энциклопедия физической антропологии», где имеется много сведений о России, Могильнер также не пригодилась, наверное, потому что ее издатель Ф. Спенсер — физический антрополог, а значит, тоже позитивист.

Продвинутые историки часто вспоминают о гирцевском методе «насыщенного описания». Гирц заимствовал эту идею у Гилберта Райла. Вспомним пример, приводимый Райлом: глядя на человека, моргающего одним глазом, исследователь должен последовательно раскрывать смыслы того, что не раскрывается простым наблюдением. Семантичность моргания может последовательно повышаться путем наращивания смыслов: физиологический акт — знак — передразнивание того, кто подает знак — тренировка для передразнивания. Могильнер, видимо, полагает, что ее описание истории физической антропологии гораздо «насыщеннее» того, которое способны дать сами ученые-позитивисты. Но она плохо читала и Гирца, и Райла. «Чтобы выучить урок, — говорил Райл, — нужно выучить все уроки более низких уровней. Никакими педагогическими ухищрениями нельзя научить мальчика передразнивать подмигивающего, не научив его подмигивать и распознавать подмигивание». Могильнер не выучила урока даже самого низшего уровня. Нельзя сразу перейти к насыщенному описанию, минуя позитивистскую стадию. Нельзя заниматься фонологией, не зная фонетики. Нельзя пытаться обнаружить в науке новые смыслы, не поняв самого обычного ее смысла.

Если бы Могильнер была просто дилетантом в антропологии, в этом не было бы большой беды. Но она — дилетант воинствующий. Наука ей не нужна, она ее только раздражает. Факты как таковые для нее не существуют, они — пережиток позитивизма. Фактов нет, есть лишь их идеологические импликации, причем сплошь и рядом высосанные из пальца. Допустим, обнаружил Гильченко, что женский мозг в среднем меньше мужского (С. 310–311). Ну и что из того? Ведь только невежды могут думать, что массой мозга определяется интеллект. Но нашего автора уже не остановить: «Женщина и женский мозг заместили в его схеме колонизированный объект»... «Сублимированный гендерный колониализм»... «Мифология национальной феминности»...

Поразительно, что при всем том Могильнер очень много прочла. Это, кстати, еще одна черта, роднящая ее с Авдеевым: парадоксальное сочетание начитанности с невежеством, фантастическая кривозеркальность в угоду идеологическому проекту. Тот на многих страницах превозносит какого-нибудь «гениального русского ученого» вроде Ешевского, вклад которого в антропологию ограничился парой расистских лекций, тогда как Могильнер публикует подробные архивные данные о бюджете Русского антропологического общества, смете географо-антропологического кабинета, членских взносах.

Все это интересно не столько в фактическом отношении, сколько в исследовательско-генеалогическом. Некоторые идейные источники книги вполне доброкачественны. В частности, откуда появились бюджеты и сметы — понятно. Это воспринято не только у новых истористов, но и у поздних формалистов, повернувших от идеи имманентности литературы к изучению быта. Но Эйхенбаум и Тынянов и на поздней, как и на ранней стадии своей эволюции отлично знали, о чем и о ком писали. Филология была их профессией, и главный объект анализа у них не исчезал за бытовыми частностями. Про Могильнер этого не скажешь. Сколь бы безупречной ни была ее гуманитарная подготовка в империи и за ее пределами, приобретение физико-антропологических знаний данным курикулом явно не предусматривалось. Нехватку знаний приходится компенсировать буйными и отчасти нездоровыми фантазиями. Так, на с. 46 читаем: «Измерения на живых людях <...> могли быть крайне болезненными, ибо антропологу приходилось смыкать измерительные инструменты непосредственно на кости, преодолевая жировой слой». В страшном сне не приснится!

Возвращаясь к филологическим истокам, нужно отметить, что в отношении профессионализма Могильнер катастрофически отстает не только от формалистов, но и от представителей школы, известной у нас как вульгарный социологизм. Что бы ни говорили о В.М. Фриче, но он как-никак был учеником Н.И. Стороженко и переводчиком Бласко Ибаньеса, да и В.Ф. Переверзев знал, о чем писал. Многое можно им поставить в вину, но уж как пишутся фамилии писателей, они знали твердо и имен тоже не путали. В книге же Могильнер Арман Катрфаж именуется Армандом де Кэтрефажем, Ивановский — то Алексеем, то Александром, А.А. Зубов назван «Зубковым», причем трижды, так что это не опечатка. Но если человек не знает, кто такой А.А. Зубов, то он никоим образом не может писать историю российской физической антропологии, поскольку смотрит на нее даже не из-за океана, а с Марса. С рав-

ным успехом автор данной рецензии мог бы написать историю, скажем, кристаллохимии.

Что же касается догматической и грубой вульгаризации во имя политики, то тут Могильнер не просто неизмеримо ближе к Фриче и Переверзеву, чем к Тынянову и Эйхенбауму, но, пожалуй, даже превосходит первых. Бьющие в глаза параллели между «новым историзмом» и вульгарным социологизмом уже рассматривались [Шайтанов 2002], и возвращаться к этому я не собираюсь.

Первая же фраза в книге М. Могильнер вызывает недоуменные вопросы: «Эта книга — о возникновении и эволюции категории расы в Российской империи, точнее — о становлении науки физической антропологии в России» и т.д. (С. 5). «Точнее»? Может быть, автор, перепутав общее с частным, оговорился и хотел сказать другое: «Эта книга — о становлении физической антропологии в России, точнее — о возникновении и эволюции категории расы»? Нет, судя по всему, перед нами не оговорка, а фундаментальное непонимание предмета физической антропологии. На с. 15 написано, что основная категория физической антропологии — раса. Ни один физический антрополог в мире под этим не подпишется, но мы уже знаем, что мнение профессионалов для Могильнер — не указ. Судя по всему, она искренне верит, что никаких иных задач, кроме расоведения, у физической антропологии нет. Что такое, например, антропогенез, она просто не знает, поскольку пишет на с. 492: «антропогенез народов СССР». За такое выражение поставили бы двойку в школе, не то что в вузе.

Но мало того, что Могильнер очень смутно представляет себе предмет физической антропологии; она упорно на протяжении всей книги стирает различие между расоведением и расизмом. Здесь у нее наблюдается полнейшее единство с В.Б. Авдеевым, несмотря на различие теоретических источников: у Авдеева — германский нацизм и расизм, у Могильнер — американская политкорректность.

Об американской политкорректности нужно сказать особо. Ее первопричина — больная историческая совесть, мучительное изживание тяжкого греха расизма. Перемены к лучшему, за которые отдал жизнь Мартин Лютер Кинг, наступили в американском обществе слишком поздно, лишь в эпоху Кеннеди. Научные труды с откровенно расистским привкусом издавались в США еще в 1960-е гг. (таковы, например, книги одного из столпов американской физической антропологии Карлтона Куна). Я уж не говорю про Артура Дженсена, расистская статья которого про IQ появилась в 1969 г. не где-нибудь, а в «Harvard Educational Review» (его статьи в том же духе, написанные сов-

местно с Дж.Ф. Раштоном, опубликованы совсем недавно — уже в XXI в.). По закону маятника значительная часть американской академии откатнулась к противоположной крайности — само существование рас стало отрицаться. А затем, в полном соответствии с фрейдовским принципом проекции, некоторые американские антропологи перешли в наступление и принялись искать расистов в других странах. По-русски этот принцип называется не вполне научно — «с большой головы на здоровую». Проекция — хороший защитный механизм. Хуже то, что защищаться в итоге приходится другим, непричастным или менее причастным к тому, что мучит людей, нуждающихся в таком механизме.

Я не собираюсь защищать от М. Могильнер ни Россию, ни российскую физическую антропологию. Споры нет, масштабы этнических гонений в нашей стране были немалыми. Однако в силу ряда исторических обстоятельств погромщики-практики меньше нуждались у нас в услугах теоретиков, чем их коллеги в Америке или Германии. Каковы бы ни были причины такого положения дел, факт остается фактом: зараза расизма очень мало затронула российскую науку. Ничего сравнимого — ни по объему, ни по солидности — с тем, что публиковалось на тему о биологическом неравенстве рас в США, Германии, Великобритании и Франции, в дореволюционной России не было (я уж не говорю об СССР, где расистская литература вообще не издавалась и издаваться не могла).

Усилиями «новых истористов» из тьмы забвения извлечен мажорный антисемит и расист И.А. Сикорский (см. книгу о нем, вышедшую недавно в Украине: [Менжулин 2004]). Могильнер уделяет ему целую главу и называет его «создателем антропологии русских» (С. 277). Ни больше ни меньше! Расистские бредни Сикорского она всерьез считает «теорией русских как нации» (С. 259). Такой чести он едва ли удостоивался и от коллег-черносотенцев. И, тем не менее, Могильнер вынуждена признать, что Сикорский трактовал задачи антропологии «совершенно иначе, чем большинство российских антропологов» (С. 105) и что он «не допускался даже на порог либеральной московской антропологии» (С. 124). И как бы ни пытались Могильнер с Авдеевым привлечь внимание к фигурам одиозных маргиналов или к отдельным неполиткорректным высказываниям специалистов с высокой репутацией (целый раздел книги посвящен безмерному преувеличению антропологического аспекта личности Пушкина, в частности, газетным заметкам Д.Н. Анучина о нем), общей картины все это не меняет. Напротив, делает ее еще более ясной. До появления трудов Авдеева и Могильнер можно было подозревать, что какая-то дрянь в углах русской антропологии осталась незамеченной.

После того как по науке прошлись два мощнейших пылесоса, такие сомнения отпали. Теперь перед нами действительно весь «сор и дряг» (выражение Гоголя), который возможно было собрать по всем углам. Содержимое пылесосного мешка рекомендуется просматривать, прежде чем выбросить на помойку. Туда порой засасываются нужные вещи — монета, пуговица или наперсток. В некотором смысле эти вещи дают нам представление о нашей жизни. Но только лишь «в некотором смысле» — и вот этого-то ограничения для новоявленных реформаторов истории антропологии не существует.

Лейтмотив книги Могильнер — мнимое противостояние «двух заявленных в России (но не всегда последовательно реализовавшихся) вариантов антропологической парадигмы — условно “общественнической имперской” (Москва) и условно “экспертной колониальной” (РАО при Петербургском университете)» (С. 134). Условно, слишком условно! А если без обиняков, то вульгарно до невозможности. Что не высосано из пальца, то притянуто за уши. Московская антропология — либеральная, петербургская — колониальная. Московская — имперская, петербургская — экспертная. «Антропологическая парадигма XIX века» — «продукт структурных процессов модернизации европейских обществ и распространения империалистических “практик”» (С. 38). «Новое знание об имперском человеческом разнообразии или о природе гомогенного и гармоничного национального организма, созданное в рамках передовой науки своего времени — физической антропологии, казалось в этих условиях <...> рецептом модернизации империи» (С. 16). «Русские творцы государственности неминуемо должны были иметь стройное и хорошо аргументированное учение, позволившее им собрать полиэтнический конгломерат в единое устойчивое целое, имя которому — Российская Империя... Нужна была собственная расовая теория, четко и доказательно определяющая место русских как расово-биологической общности среди подчиненных народов». Впрочем, виноват, это уже не Могильнер, а Авдеев [2002].

Ни науки, ни истории науки тут нет в помине — есть только политика и партийные интересы. Как у М.Н. Покровского — «история — это политика, опрокинутая в прошлое». Пушкинские очерки Анучина, по Могильнер, «наглядно воплощали западнический пафос антропологического и либерального политического дискурсов и в то же время выявляли их пределы» (С. 232). Ни дать ни взять Переверзев: «Обломов — буржуа, споткнувшийся в процессе европеизации и повернувшийся оглобли назад к патриархализму». Так что сегодня, в XXI в., промывать нам мозги насчет партийности науки совершенно излишне. Спасибо, насышаны. И ведь, казалось, кануло это

в Лету навсегда, а вот поди ж ты — снова появилось во всей красе. Кое-что даже похлеще и Покровского, и Переверзева. В общем и целом картина российской антропологии удручающе безотрадная.

То ли дело — Федор Волков, он же Хведир Вовк. Он и «украинский национально мыслящий интеллектуал», и «европейский ученый-антрополог» (С. 140). Он отошел от «колониальной парадигмы» (С. 143), а его методы «в политическом контексте прочитывались как западные, европейские, цивилизованные и передовые» (С. 142). Проект Волкова был направлен «на установление единого антропологического типа украинцев как основы украинской нации» (С. 480). Другой стратегический союзник — А.Н. Джавахов, он же Джавахишвили. Этот исследователь «сознательно разрабатывал проект “антропологии Грузии”», «направленный на конструирование гомогенного национального тела» (С. 284). Поскольку тело грузинское, то и проект никакой не расистский, а самый что ни есть прогрессивный, как и украинский проект Волкова. Я нисколько не передергиваю, вот цитата, в достаточной мере иллюстрирующая принцип двойных стандартов: «Самым серьезным достижением Джавахова как национально мыслящего антрополога было преодоление догматики “смешанного типа” в пользу унифицированного грузинского расового типа» (С. 289). Если бы в Грузии был свой Авдеев, он подписался бы под этим двумя руками. Вот истинная цена политкорректности!

Антропология как таковая, вне политики, не интересует автора рецензируемой книги ни в малейшей степени. Чем, как не полным отсутствием интереса к сути дела (научной, а не политической сути), объяснить гротескное искажение автором масштабов научных фигур и их вклада в науку? Согласно именному указателю, Сикорский упоминается на 59 страницах, тогда как Е.М. Чепурковский — на 10. *Sapienti sat!*

Революция, на взгляд Могильнер, мало что изменила. Как была отсталая империя — так и осталась. Да и сейчас картина та же. «Советские исследователи, — пишет автор, — практически не отреагировали на дискредитацию категории “расы”, которая после Второй мировой войны и ужасов нацизма была окончательно признана категорией, не имеющей строгих научных оснований» (С. 493). О научных основаниях — чуть позже, но о национальных расовых типах вроде русского, украинского и грузинского советские исследователи, в отличие от Могильнер, точно не писали. И уж никоим образом не могли, в отличие от нее, писать о том, что расовый тип — основа нации.

Что же касается дискредитации категории «расы», то логика у автора тут довольно странная, особенно если учесть, что Мо-

гильнер считает себя историком науки. Разве после Хиросимы и Нагасаки категория «атомного ядра» была признана не имеющей строгих научных оснований? Разве научные теории верифицируются на основании возможности злоупотреблений ими? Прежде нам казалось, что после ужасов нацизма был окончательно дискредитирован расизм. Видимо, мы ошибались, потому что в США расистская литература издавалась и после Второй мировой войны. В других странах ситуация была иной. Г.Ф. Дебец, посвятивший жизнь изучению рас и создавший отечественную школу расоведения, в 1968 г. стал вице-президентом Международного союза антропологических и этнографических наук. Быть может, Могильнер сообщит нам, многие ли члены этого союза были расистами?

«Окончательно признана»... Где, когда, кем? Не надо лукавить — ужасы нацизма тут решительно ни при чем. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть декларации ЮНЕСКО о расе, принятые ведущими мировыми специалистами в Париже в 1950 и 1951 гг., когда память об ужасах была гораздо живее, чем сейчас [Расовая проблема и общество 1957]. Оба документа написаны со вполне здравых позиций, в обоих речь идет о расах, дается научное определение этого термина, но указывается, что следует проводить различие между «расой» как биологическим фактом и «мифом о расе» [Там же: 305]. В первой декларации говорится и об опасностях, связанных с обыденным употреблением термина «раса», и даже предлагается заменить его выражением «этническая группа». Однако Эшли Монтегю — один из самых радикальных сторонников «нерасового» изучения человеческой изменчивости — в своем особом мнении разъясняет, что с научной точки зрения такая замена неудовлетворительна, и речь идет лишь о популярной литературе [Там же: 303]. Нет, не «ужасы нацизма», а избыточная политкорректность, возникшая гораздо позже этих ужасов и связанная вовсе не с ними, а с «защитной реакцией» американской академии на труды Куна, Дженсена и прочих американских расистов, стерла в сознании широкой публики и в головах многих гуманитариев различие между расоведением и расизмом.

Прочие высказывания Могильнер об антропологии советского периода — за гранью добра и зла. «Евгеническое мышление <...> в 1920-е годы было, пожалуй, единственным более-менее корректным с научной точки зрения и политически легитимным вариантом оправдания существования физической антропологии» (С. 483). «Физическая антропология во всех ее вариантах стала ассоциироваться с “биологическим детерминизмом” и восприниматься как угроза планам коллективизации и индустриализации» (С. 486). «Несмотря на антизападный и “антибуржуазный” настрой Ярхо, антропология трактова-

лась им в полном соответствии с германским каноном как “расоведение”, ее основной категорией оказывалась “раса” (а не, скажем, “физический тип”), которая детерминировала “культуру»» (С. 487). «Советский научный дискурс человеческого разнообразия, почти никак не связанный с реальными потребностями жизни и взглядами населения, был не просто маргинальным, но и откровенно избыточным» (С. 493). И так далее в том же духе.

В малых дозах это смешно, в больших — невыносимо скучно. Откуда вся эта безапелляционная несусветица? Она коренится в глубоко превратном и вульгарном представлении автора о сути деятельности ученых, о характере связи этой деятельности с жизнью общества. Вот, например, что пишет Могильнер о В.В. Бунаке: «Имея не только репутацию ведущего советского антрополога, но и занимая соответствующую должность, <...> Бунак тем не менее [! — А.К.] чувствовал необходимость доказывать собственную значимость как ученого, участвуя в разного рода медицинских, биологических и социальных проектах» (С. 463). В этом «тем не менее» — вся суть книги. Это и есть то, что можно обозначить выражением «наука минус наука». Я хотел бы сообщить М. Могильнер, что ученые не только «занимают должности», «доказывают собственную значимость» и «участвуют в проектах» — они в первую очередь занимаются наукой, которая им кажется интересной. То, что этот аспект их деятельности нисколько не интересует М. Могильнер — факт ее собственной биографии. Ученые могут, по своей воле или вопреки ей, оказаться вовлеченными в политику, но только приверженцы Покровского и Митина способны верить в то, что наука есть форма политики. Возродить обветшалые и одиозные исторические парадигмы, формулируя их на новый лад, — затея безнадежная.

Тут бы и поставить точку, но рецензия будет неполной, если не сказать хотя бы двух слов о языке, которым написана книга. Надо отдать должное предшественникам автора: Фриче, Переверзев, Покровский, Митин издевались над литературой, историей и естествознанием, но не над русским языком. Язык же книги Могильнер в старину назвали бы смесью французского с нижегородским, но времена изменились. Современный вариант этого новояза таков: «В нем [языке работ Петри. — А.К.] никак не отражалась амбивалентность положения российских “инородцев” и самого русского народа vis-à-vis Культуры» (С. 116). Такие тексты выдают несовершенные компьютерные программы-переводчики, с помощью которых новые русские осваивают американские инструкции по «брендингу», «маркетингу» и «мерчендайзингу». То, что программа не может перевести, она оставляет «как есть». Либо создает кальки: «Вполне

предсказуемо, именно владение расовым дискурсом...» (С. 210; в оригинале было «Quite predictably,...»). На этом фоне перевод «racialism» как «расоизация» или «расоизирующий дискурс» — шедевр творческого перевода. Впрочем, слова вроде «модерный» или «идиосинкратический» употребляет сегодня не одна Могильнер. Как заметил один филолог, теперь все чаще переводят не с английского на русский, а с латинского шрифта на кириллицу.

«Многие издания “НЛО”, — сказано в проспекте издательства, — включены в программу обязательной подготовки студентов-гуманитариев не только в российских вузах, но и в университетах США, Канады, Германии, Финляндии и других стран Европы». Я не знаю, относится ли это к книге Могильнер, но вместе со всеми российскими физическими антропологами глубоко надеюсь, что не относится.

Библиография

- Авдеев В.Б.* Предисловие // Русская расовая теория до 1917 года. М.: ФЭРИ-В, 2002. <<http://www.xpomo.com/ruskolan/avdeev/1917.htm>>.
- Глебов С., Могильнер М., Семенов А.* «The story of us»: Прошлое и перспективы модернизации гуманитарного знания глазами историков // Новое литературное обозрение. 2003. № 59. С. 190–210.
- Козинцев А.Г.* Расолог Владимир Авдеев «изучает извилины в мозге врага» // Критика расизма в современной России и научный взгляд на проблему этнокультурного многообразия. М.: Asademia, 2008. С. 19–40.
- Менжулин В.* Другой Сикорский. Неудобные страницы истории психиатрии. Киев: Сфера, 2004. 490 с.
- Расовая проблема и общество. М.: Издательство иностранной литературы, 1957. 315 с.
- Савельев А.Н.* Опыты русского сопротивления. Электронная версия. 2009. <<http://savelev.ru/book/?ch=708>>.
- Шайтанов И.О.* «Бытовая история» // Вопросы литературы. 2002. № 2. С. 3–24.

Александр Козинцев



Могильнер М. *Номо imperii. История физической антропологии в России*. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 512 с.

От Номо Imperii к антропологии в России и назад

Заниматься наукой интересно. Интересно не только заниматься наукой как ремеслом, но и исследовать ее саму, как любой другой предмет, поддающийся анализу. Для этого есть несколько причин. Наука дольше других сфер человеческой жизни сохраняла статус неприкосновенности, наподобие багажа дипломата, пересекающего границу. Нельзя, потому что слишком важно. Нельзя, потому что досматривающий не обладает достаточными знаниями для адекватной оценки. Нельзя и поэтому очень хочется узнать, что же в чемоданчике.

Чемоданчик этот, впрочем, уже давно стал предметом изучения. И едва ли сейчас у кого-то еще остались сомнения в том, что «чистый» универсум самой «чистой науки» является таким же социальным полем, как и любое другое, со свойственным ему соотношением сил и монополиями, борьбой и стратегиями, интересами и прибылями» [Бурдые 2005б: 473]. Социальный контекст науки, в том числе и ее социальная история, широко исследуется представителями самых разных школ и направлений.

Что же происходит в России? В России таких исследований нет. Ну, или почти нет. Задержим дыхание. Каких исследований нет? Остановимся на истории антрополо-

**Екатерина Александровна
Мельникова**

Европейский университет
в Санкт-Петербурге
Melek@eu.spb.ru

гии. Разве нет книг по истории антропологии и этнографии? Есть, конечно. И немало. Хочется искренне (я все-таки пишу искреннюю рецензию) добавить: «А толку-то?». Толку от исследований истории антропологии много, если мы хотим узнать, когда появились кафедры, институты, кто и когда писал те или иные работы. Иными словами, если мы хотим пропустить дипломата в самолет, нам нужно узнать, как его зовут, откуда и куда он летит, билет, пожалуйста. Но, увы, все это не позволяет заглянуть в чемоданчик. А именно этого-то и хочется.

Интересно узнать, почему человеческая мысль и деятельность приняла именно такие формы именно в такое время, почему ни с того ни с сего людей вдруг потянуло измерять человеческие черепа, какие амбиции двигали ими, тем более что многие из них были не последними людьми в Российском государстве. Что зависело от них? И отчего зависели они сами? Генеалогия научных теорий — дело, конечно, стоящее, но мы-то с вами знаем, что, окажись N в час X в точке B , а не в точке A , никакого научного влияния могло бы не быть. Не получи Z субсидий на свои исследования в таком-то и таком-то году, не было бы... Но все-таки было именно то, что было. И тем интереснее наука как одна из форм организации человеческой жизни и вытекающий отсюда вопрос: как деятельность ученых связана с деятельностью других людей? Вот об этом-то исследований в России и о России почти нет. Книга Марины Могильнер — это первая монография по-русски об антропологии в социальном контексте. В принципе на этом можно было бы закончить рецензию. Одного этого факта, с моей точки зрения, вполне достаточно для того, чтобы исследование было включено в обязательное собрание книг любого специалиста и заняло подобающее — высокое — место среди прочих трудов об антропологии.

Остановиться на этом нельзя, потому что задачи рецензии не исчерпываются указанием на общее значение книги. Но все-таки придется сказать еще пару слов именно об этом. Что такое вообще хорошая научная книга? Это книга, после которой хочется писать еще. Так я думаю. Нет и не может быть хорошего исследования, которое бы закрывало проблему. Расставляло бы все точки над i , решало все вопросы, все тайное делало явным, а все загадочное — понятным. Причем понятным всем без исключения читателям. Такая книга была бы, безусловно, плохой, потому что за ней открывался бы тупик, продолжение было бы невозможным. Хорошая книга всегда требует продолжения, не сиквела в духе «Чужой», а новых исследований, которые бы подтверждали, опровергали сделанные выводы, находили бы новые свидетельства и аргументы, расчищая потихоньку дорогу в лесной чаще. Хорошая книга открывает

джунгли, а не укладывает асфальт посреди известного мегаполиса.

Книга Марины Могильнер с этой точки зрения, безусловно, хорошая книга. Она требует продолжения. Книг такого рода должно быть много. Об антропологии, так же как и об истории других социальных и гуманитарных наук, нужно писать. Вновь и вновь подкапываться с разных сторон к одним и тем же фактам, именам, деталям, находить новые, устанавливать связи между ними и т.д. Когда (если?) таких исследований будет много, возможна будет и настоящая дискуссия о том, какую роль играла антропология в России. Но пока есть только одна книга Могильнер. Поэтому поговорим о ней.

Монография «*Nomina imperii: История физической антропологии в России*» — внушительный труд, опирающийся на множество новых архивных источников и солидную историографическую базу. Ее автор — один из учредителей и редакторов журнала «*Ab Imperio*», издаваемого в Казани. Марина Могильнер защитила в 1998 г. кандидатскую диссертацию в Казанском государственном университете, и затем в 2000 г. — Ph.D. в университете Ратгерс (США). Она вернулась в Россию, преподавала в Казанском государственном университете, занималась издательской деятельностью. Что значат эти слова? Немного. Попробуем еще раз.

Марина Могильнер — профессиональный историк. Она получила как отечественное, так и западное историческое образование: кафедра историографии и источниковедения Казанского университета, исторические факультеты Центрального Европейского университета в Будапеште и университета Ратгерса в Америке. Основная сфера ее интересов — новая имперская история. Это направление возникло на рубеже XX и XXI вв. и связано прежде всего с деятельностью самого журнала «*Ab Imperio*». «Новая имперская история» возникла как ответ на трудности, возникшие в русистике в связи с крахом Советского Союза. Для западных исследователей эти трудности были вызваны утратой предмета изучения, для российских — снятием границ между отечественной и западной историографией, вследствие чего различия в методологических основаниях работы оказались очевидны. Инъекции западных теорий не могли быть незамечены, и вопрос о том, чем и как заниматься историкам России, оказался неожиданно острым [Герасимов и др. 2004].

Журнал «*Ab Imperio*» начинался как проект по переносу на российскую почву формата известного западного журнала «*Nationalities Papers*» [Герасимов, Могильнер 2007: 219]. Но довольно скоро стало понятно, что такие концепты, как «нация»,

«национализм», «империя», ставшие уже более или менее традиционными в западной историографии, на российском материале работают плохо или, по крайней мере, требуют дополнительного обоснования и определения, граничащего с полным отказом от их использования. Тогда и появилась идея «новой имперской истории». Как пишут редакторы журнала, «мы предлагаем изучать в рамках Новой имперской истории не структуры, а практики и дискурсы, которые переплетаются в динамичную открытую систему “имперской ситуации” <...> Имперская ситуация характеризуется параллельным существованием несовпадающих социальных иерархий и систем ценностей, с очень приблизительно устанавливаемым “обменным курсом” статуса — в то время как идеальная модель современного национального государства предполагает универсальность и равнозначность социальных категорий во всех уголках общества» [Герасимов, Могильнер 2007: 225]. Новая имперская история ориентирована на исследование не империи, как таковой, а той системы отношений, которая проявляется прежде всего в империях (но не только) и которая получила название «имперская ситуация». В значительной степени это направление связано с критикой базовых идей социальных наук и заявляет о себе как об «археологии знания об империи» [Герасимов и др. 2004: 26].

Новая имперская история противопоставлена «прежде всего взгляду на империю как реальную “вещь”, равную самой себе; любому монологичному метанарративу имперского пространства (будь то взгляд “из центра”, отождествляющийся с высшей имперской бюрократией, или эксклюзивный взгляд “снизу”, воспроизводящий тропы и риторику активистов национально-го движения); наконец, парадигме, фиксирующей на неравноценном диалоге “центра—периферии” (и игнорирующей многочисленные “горизонтальные” связи и локальные иерархии)» [Там же: 231]. «Как и нация, империя — не “вещь”, а система отношений. Причем национальная логика может восторжествовать в империи (Российской или Британской), а имперская ситуация проявиться в самом современном “национальном” обществе» [Там же: 228].

Понятно, что такой подход претендует на тотальность¹ и может легко стать объектом критики. Я вовсе не являюсь специалистом в области имперской истории — старой или новой, и со-

¹ Это подтверждают и редакторы журнала: «Мы печатали статьи по истории Киевской Руси и посвященные анализу политического языка В. Путина. Редакторы АИ — специалисты по истории России, журнал посвящен истории Российской империи и СССР, но мы публикуем статьи, рассматривающие — в близком нам ракурсе — прошлое и настоящее Западной Европы, Центральной Азии, США» [Герасимов и др. 2004: 229].

вершено точно не собираюсь разбирать особенности этого направления. Скромный экскурс в область новой имперской истории необходим лишь для того, чтобы прояснить научный контекст, в котором появилась книга «Ното имперіі».

Это исследование, на мой взгляд, нужно рассматривать как часть проекта новой имперской истории. Оно направлено на анализ имперской системы отношений, реализующейся в дискурсах и практиках физической антропологии России рубежа XIX–XX в., той самой «имперской ситуации», которая «характеризуется параллельным существованием несовпадающих социальных иерархий и систем ценностей».

Работа не только опирается в значительной степени на историографию, связанную с изучением империй, но и отсылает к этому направлению как метатексту, оперируя терминологией, принятой в рамках этой исследовательской парадигмы. Именно поэтому в книге нигде не определяются и не обсуждаются такие понятия, как «империя», «нация-государство», «проект». В данном случае эти понятия — не инструменты анализа, необходимые для того, чтобы адекватно препарировать выбранный предмет — физическую антропологию. Они используются как его основополагающие структурные единицы, заданные самим ходом исследования. Дискуссии по поводу значения этих понятий оставляются автором в стороне, так же как не оговариваются причины, по которым он игнорирует эти дискуссии. И то, и другое связано с тем, что книга «Ното имперіі» — это своеобразная реплика автора в диалоге или даже монологе о том, как имперские отношения реализуются в разных сферах социальной жизни Российского государства.

Иными словами, книга Марины Могильнер посвящена не физической антропологии, а империи — пусть и понимаемой не как «вещь», а как система отношений между различными социальными категориями. Поэтому во введении к книге автор уделяет основное внимание не историографии антропологии, а тем особенностям Российской империи, которые определяют исследовательский интерес к понятию «расы» и функционированию науки, для которой это понятие должно было быть одним из ключевых. «Российская империя — бескрайняя, плохо структурированная, представлявшая собой относительно слабо упорядоченное объединение земель, юрисдикций, народов <...> Уместна ли в такой империи “раса” — одна из ключевых категорий западной модерности и западного империализма <...>? Российская империя, не знавшая классического заморского колониализма и с опозданием вступившая на путь своеобразной и ограниченной модернизации, описывала себя в категориях династической власти, романтического национа-

лизма и одновременно — имперской гражданской лояльности, коллективного подданничества, “обрусения” и т.п.» (С. 6).

В российском позднеимперском контексте категория «расы» кажется неуместной, немислимой, чужеродной и, безусловно, таковой является, если мы рассматриваем сам этот контекст как единое пространство, обобщая интеллектуальные тенденции и нивелируя различия между ними. Но именно этого и не хочет делать Могильнер. В отказе от такого обобщения и заключается главная особенность исследовательского подхода. «История Российской империи, особенно после реформ 1860-х годов, интересна именно тем, что она принципиально не описывается каким-то одним доминантным нарративом: ни традиционалистским, ни модернизационным, ни “полумодернизационным”, ни национализирующим, ни “революционным”» (С. 9). А если так, если «Россия отвечала во многом на те же вызовы, на которые реагировали европейские общества», значит, «интеллектуальная элита России не могла не заметить и не отреагировать на появление “расы” как категории научного и политического языка» (С. 9). Вот, собственно, отправная точка исследования.

Понятно, что «раса» в России была маргиналией, не могла стать и не стала ключевой категорией описания социальной реальности. Но от этого только интереснее становится вопрос о том, чем же она все-таки стала в России, в какой форме и для каких целей оказалась востребованной, кем была использована, в какой интеллектуальный и политический контекст была вписана. Марина Могильнер выделяет три таких контекста: «антропология имперского разнообразия», связанная с деятельностью Московской антропологической школы, «антропология русского национализма», представленная работами И.А. Сикорского, и «антропология многонациональности», нашедшая выражение прежде всего в научных изысканиях антропологов нерусской национальности, занимавшихся антропологией нерусских народностей. Эти три дискурса представляют собой различные варианты использования категории «расы» в научных построениях разного рода, далеко не всегда посвященных «расе» как таковой.

Здесь нужно сделать несколько оговорок. Три контекста, выделенные автором, не характеризуют физическую антропологию в целом. Они не описывают всего многообразия дискурсов, представленных в антропологии рубежа XIX–XX в. Они только демонстрируют три разных способа обращения с понятием «раса», каждый из которых определяется множеством социальных, политических, институциональных факторов. Отталкиваясь от выводов Могильнер, можно было бы пойти дальше

и попытаться выяснить, в какой степени российская физическая антропология рубежа XIX–XX в. действительно описывается этими тремя моделями, есть ли другие, и если да, то какие.

Перед нами любопытная ситуация. При полном отсутствии книг, посвященных российской антропологии как социальному явлению, мы имеем дело с исследованием, в мельчайших деталях разбирающим ее маргиналии. Впрочем, такой подход далеко не оригинален. Скорее наоборот: многие значительные работы были посвящены разбору как раз уникальных, исключительных явлений культуры. «Сыр и черви» Карло Гинзбурга, «Капитан Джеймс Кук» Маршалла Салинза, «История экзорциста» Джованни Леви. Книга Марины Могильнер многим отличается от этих исследований, в том числе и тем, что в центре анализа находится не один, а множество разных сюжетов¹. Но автор идет тем же путем: от анализа невероятных, странных, нелепых, курьезных случаев из жизни «расы» в российском контексте к пониманию общих закономерностей взаимодействия политической и интеллектуальной элит, роли научного знания в формировании имперской идеологии, роли идеологии в формировании научного знания и особенностей легитимации научного знания на пространстве Российской империи.

Основная проблема исследования заключается в том, что понятия общего и частного, фона и рамки никак не обсуждаются и не оговариваются в книге. Первая страница введения полностью посвящена перечислению основных вопросов работы. Но они настолько разноречивы, что с их помощью почти невозможно понять, о чем же все-таки книга. «О возникновении и эволюции категории расы в Российской империи»? «О становлении науки физической антропологии в России»? «О людях, которые открыли для себя научное понятие “раса”»? Или «о процессах саморегулирования и самореформирования в империи, о пределах модернизационных проектов российских интеллектуалов, о мысленном моделировании массового имперского общества и о проблемах современного национализма в империи»? И хотя автор подводит черту под этим перечислением, называя два главных вопроса, вокруг которых построена книга — «была ли в Российской империи “раса” и что означала “раса” по-русски?» (С. 5) — увы, этого оказывается недостаточно для объяснения того, о чем, зачем и для кого написана книга.

¹ Чего стоит история подготовки и последующей реакции на антропологическую классификацию А.А. Ивановского (С. 151–186) или антропологические вариации на тему «Пушкин» в исполнении Д.Н. Анучина и И.А. Сикорского (С. 216–236, 245–252).

Ситуация усугубляется тем, что в работе нет ни обзора литературы об истории самой физической антропологии, ни более или менее ясно сформулированных выводов. Ее структуру отличает непоследовательность: одни и те же персонажи всплывают и разбираются с разной степенью тщательности в разных главах и частях. Такая «неразбериха» особенно бросается в глаза на фоне привычного изложения истории антропологии, разделенной на западную и отечественную, и далее по эпохам, школам, именам. Впрочем, подобные претензии были бы уместны, если бы фоном действительно была история антропологии.

Все эти замечания, конечно, слишком хрестоматийны и смахивают на рабочую критику научного руководителя университетского диплома. Ими можно было бы пренебречь, и даже стоит пренебречь ради понимания главной мысли автора. Сложность заключается в том, что сам автор крайне мало сделал для того, чтобы эта мысль была понятна тому самому «широкому кругу читателей», пусть даже ограниченному не очень широким кругом представителей социальных и гуманитарных наук.

Работа затрагивает множество интересных вопросов, которые имеют все шансы быть незамеченными из-за того, что ее истинные цели недостаточно ясно прописаны, а декларированные задачи вводят читателя в заблуждение. На с. 22 автор пишет: «Вместо истории науки в строгом смысле слова (как истории научных школ, направлений и институтов в рамках становления данной научной дисциплины) я реконструирую мотивы и логику сообщества российских ученых и примкнувших к ним профессионалов-практиков, формировавших антропологическую парадигму на самых разных уровнях». И далее: «Иными словами, я пытаюсь понять не только то, как антропологическая парадигма превращала *homo imperii* — человека империи — в объект своего изучения, но и в какой степени она определялась этим самым *homo imperii*, который был далеко не однородным. Для реконструируемой мной имперской ситуации характерна конкуренция субъектов и объектов антропологического дискурса, в ходе которой формировалась семантика «расы по-русски». Этот процесс и станет предметом анализа на страницах книги о расе в Российской империи» (С. 23).

Таким образом, автор постулирует три разных уровня анализа: реконструкция мотивов и логики сообщества российских антропологов, анализ зависимости антропологической парадигмы от *homo imperii* и характеристика имперской ситуации, в которой формировалась семантика «расы по-русски». Марина Мо-

гильнер не оговаривает иерархию этих вопросов, в результате чего складывается ощущение, что для самого автора они являются не чем иным, как разными формулировками одной и той же проблемы. На практике же монография посвящена лишь последнему из этих вопросов, который позволяет приблизиться к решению первых двух, но ни в коем случае их решение не заменяет и не исчерпывает.

Вводя в название книги и в список основных задач «историю физической антропологии», Марина Могильнер вступает на поле, по которому явно не собирается идти. Потому что история физической антропологии в России — и я совершенно уверена, что автор вполне отдает себе в этом отчет, — не исчерпывается историей присвоения и освоения категории «расы». В книге лишь вскользь затрагиваются, а скорее даже угадываются вопросы, связанные с взаимодействием — дискурсивным, политическим, академическим, институциональным — физической антропологии, этнографии, фольклористики.

Вопрос о притязаниях физической антропологии на статус точной науки проходит красной нитью через все исследование, но ни в одной из частей не становится ключевым и нигде не формулируется как один из наиболее значимых в разговоре об истории социальных наук. Период, о котором идет речь в книге Могильнер, был «осевым временем» исследований в области наук о культуре, связанным с серьезными дискуссиями о понятии «объективности» в науке и возможности объективной науки как таковой [Эксле 2003: 393—405]. Это же время связано с возникновением и стремительным развитием эмпирического естествознания, которое во многом и спровоцировало дискуссии последней трети XIX и начала XX вв. и, в конечном счете, появление самой физической антропологии. Реконструкция мотивов и логики российских антропологов, которая в данном случае легко (даже слишком легко) поддается отождествлению с деконструкцией антропологии как науки, требует отдельного рассуждения о том, каким образом естествознание как модель научного познания было инкорпорировано в систему координат российских интеллектуалов, да и не только интеллектуалов.

Физическая антропология возникла и существовала как естественно-научный двойник антропологии/этнографии. Когда Марина Могильнер берется за анализ «вненаучной» составляющей этой науки, она тем самым покушается на нечто большее, чем просто анализ антропологического дискурса. Парадокс, связанный с изучением естественных наук и природных объектов обществоведами, доходчиво объяснен Бруно Латуром: «Для множества обществоведов социальная интерпрета-

ция означает разрушение интерпретируемого объекта, разоблачение ошибочных представлений о нем (каковые имеют обычные люди) и замену этих идолов истинными объектами науки или указание на то, что такая замена невозможна <...> Поскольку обществоведы сами верят, что социальная интерпретация разрушает объект, что произойдет, если подвергнуть такой радикальной обработке естественные науки?» [Латур 2003: 22]. Развитие исследований науки и технологии, социологии научного знания и собственно социологии науки показывает, что такое покушение не только возможно, но и продуктивно. Другое дело, что столь серьезный акт «вандализма» требует комментариев автора, объяснений собственного подхода — не только относительно взаимодействия имперских институтов и научных деятелей, но и относительно того, что остается от самой науки после реконструкции мотивов и логики сообщества российских ученых и примкнувших к ним.

Иными словами, от истории физической антропологии ждешь больше размышлений об антропологии, и я легко могу понять тех, чьи ожидания от книги не оправдались. Монография, безусловно, открывает множество новых сторон из жизни антропологии в России, содержит массу интересных материалов и талантливых интерпретаций. Но книга «Homo imperii» — это книга об имперской ситуации, в которой формировалась семантика «расы по-русски».

Монография рассчитана на тех, кто хорошо знаком не столько с самой антропологией, сколько с последними исследованиями в области имперской истории, связанными с именами таких авторов, как Сеймур Беккер, Андреас Каппелер, Марк фон Хаген, Алексей Миллер, Зенон Когут, а также публикациями в самом «Ab Imperio». Хорошо это или плохо? Полагаю, что подвох, скрывающийся в этом вопросе, понятен. Это не плохо и не хорошо, но учитывать общий фон, на котором разворачивается изложение Могильнер, необходимо. Влияет ли такая ориентация исследования на его качество? Марина Могильнер — не специалист в области физической антропологии, и какие-то неточности в ее работе возможны. Я, впрочем, не смогла их обнаружить. Моего опыта для этого недостаточно.

Можно ли доверять автору исследования, посвященного антропологии, который сам не является антропологом? Если допустить отрицательный ответ на этот вопрос, придется отказаться от антропологии вообще, потому что антропологи всегда (по определению) исследуют традиции, носителями которых не являются, общества, к которым не относятся, явления, отстраненные настолько, чтобы быть неузнаваемыми. В первую очередь, конечно, придется отказаться от антропологии науки.

Но хочется верить, что отрицательный ответ на этот вопрос все-таки невозможен.

В заключение я позволю себе процитировать один исключительно жизнеутверждающий пассаж из работы Пьера Бурдьё, чтобы разделить с ним уверенность не только в возможности, но и в необходимости изучения социальной истории социальных наук:

Привилегия социальной науки в том, что она может взять в качестве объекта исследования свое собственное функционирование и способна помочь осознать ограничения, влияющие на научную практику. Таким образом, она может пользоваться знанием и сознанием, которые у нее имеются относительно своих функций и своего функционирования, чтобы постараться избавиться от некоторых препятствий, стоящих на пути прогресса знания и сознания. Тогда, вместо того чтобы разрушать свои собственные основания, приговаривая себя к релятивизму, о чем много говорили, такая рефлексивная наука может дать основания для реальной научной политики (Realpolitik), направленной на обеспечение прогресса научного разума [Бурдьё 2005а: 519].

Библиография

- Бурдьё П.* Дело науки. Как социальная история социальных наук может служить их прогрессу // Бурдьё П. Социальное пространство: Поля и практики / Пер. с фр. Н.А. Шматко. СПб.: Алетейя, 2005а. С. 518–538.
- Бурдьё П.* Поле науки // Бурдьё П. Социальное пространство: Поля и практики / Пер. с фр. Н.А. Шматко. СПб.: Алетейя, 2005б. С. 473–517.
- Герасимов И., Могильнер М.* Что такое «новая имперская история», откуда она взялась и к чему она идет?: Беседа с редакторами журнала *Ab Imperio* Ильей Герасимовым и Мариной Могильнер // Логос. 2007. № 1 (58). С. 218–238.
- Герасимов И., Глебов С., Каплуновский А., Могильнер М., Семенов А.* В поисках новой имперской истории // Новая имперская история постсоветского пространства: сб. ст. (Библиотека журнала «Ab Imperio»). Казань: Центр Исследований Национализма и Империи, 2004. С. 7–29.
- Латур Б.* Когда вещи дают сдачи: Возможный вклад «исследований науки» в общественные науки // Вестник МГУ. Сер. «Философия». 2003. № 3. С. 20–39.
- Эксле О.Г.* Культура, наука о культуре, историческая наука о культуре: Размышления о повороте в сторону наук о культуре // Одиссей. Человек в истории. Язык Библии в нарративе. 2003. С. 393–416.

Екатерина Мельникова



Антропология академической жизни: адаптационные процессы и адаптивные стратегии / отв. ред. Г.А. Комарова. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 2008. 296 с.

«Этнография этнографии»: первый опыт саморефлексии

Рецензируемый сборник является отражением взглядов группы российских ученых, которых объединила, на первый взгляд, весьма экстравагантная идея — обратить свой «научный» взгляд на конкретный способ существования «академического» человека, человека академического образа жизни, а также на совокупность ритуалов и повседневных практик, сформированных сообществом «академических» людей, т.е. академическим сообществом, и используемых ими в сфере академической жизни. Соответственно, речь идет о ситуации, когда, по словам американских исследователей, «объект этнографии сам становится ее аудиторией» (цит. по: С. 6).

Я использую слово «экстравагантная» вполне осознанно. Именно такое определение поначалу было мною найдено, когда повезло участвовать в ежегодном собрании Американской ассоциации содействия славистическим исследованиям (Вашингтон, 2001). Коллеги — американские слависты — первым делом искали в программе конференции секцию под названием «Академический фольклор» и искренне сочувствовали тем, у кого на время ее работы приходилось свое выступление. Как оказалось, такая не то что «неакадемическая», а скорее несерьезная, на мой тогда-

Елена Александровна Борак
Институт искусствоведения,
фольклористики и этнологии
им. М. Рильского НАН Украины,
Киев
oboriak@i.kiev.ua

шний взгляд, тематика максимально «оттянула» представителей американской славистики от других секций. В течение нескольких дней в кулуарах конференции пересказывали-пересмеивали наиболее яркие эпизоды из академической повседневности, представленные участниками секции. Как оказалось, антропологический взгляд на антропологию как на научную дисциплину, социально и культурно обусловленную практику стал предметом осознанного внимания зарубежных коллег уже с конца 1960-х гг., и идея посмотреть на самих себя глазами коллег была не только оригинальной, но и востребованной.

Включение в программу VII Конгресса этнографов и антропологов России (Саранск, 2007) секции «Антропология академической жизни» вызвало мою искреннюю радость за российских коллег. Подобная тематика выносилась на обсуждение научным сообществом впервые в истории не только постсоветских конгрессов этнографов и антропологов России, но и ежегодных экспедиционно-полевых этнографических сессий. То же можно сказать и о вышедшем в кратчайшие сроки специальном сборнике под таким же названием, куда была включена часть научных докладов, подготовленных для участия в упомянутой секции. Подобная новация в сфере выбора тем для исследования скорее всего результат частной инициативы отдельных российских этнологов. Тем весомее появление сборника — на мой взгляд, оно стало незаурядным событием не только для российской этнологии.

Сразу отмечу — всем авторам сборника в частности и ответственному редактору в целом удалось главное: не только предельно ясно очертить для себя собственно объект исследования — антропологию академической жизни, но и исчерпывающе точно сформулировать ее для читателей. Вполне оправданным представляется введение в данном контексте категории «субкультура профессии» с дальнейшим пунктуальным вычленением ее составных. Под субкультурой профессии вслед за Т.Б. Щепанской понимается совокупность стереотипов и норм поведения, форм дискурса, сложившихся в профессиональной среде, функционирующих в том числе на уровне повседневности и транслируемых посредством механизмов традиции в рамках повседневных практик, специальных ритуализированных действий, профессионального фольклора (С. 5). То есть в центре внимания исследователей — профессиональное сообщество, в данном случае — академическое научное сообщество (я сама как индивид вместе с моими коллегами — какое удовольствие самой попасть в центр дискурса!); речь идет о профессиях, представляющих направления социогуманитарного знания, и реальных практиках.

Появление сборника в условиях глубоких внутренних трансформаций гуманитарных знаний, «изменений интеллектуального ландшафта», которые проявляют себя на фоне смены поколений ученых, интеллектуальных ориентаций в профессиональном сообществе, исследовательских парадигм, языка науки, на наш взгляд, симптоматично. В этой связи мне чрезвычайно импонирует обеспокоенность авторов относительно судьбы как старшего поколения ученых (в условиях изменившейся жизни они оказались наиболее уязвимыми), так и молодых исследователей, лишенных настоящих научных лидеров (и соответственно, научных школ). Поэтому вполне логично мнение, высказанное Г. Комаровой, о том, что каждое направление время от времени должно пересматривать свои интеллектуальные характеристики, обновлять круг исследовательских проблем, чтобы привлечь к себе новых исследователей (С. 6). В современном научном мире приоритетной становится задача разработки программы стратегии упрочения идентичности этнологии как науки. Ее важной составляющей, по убеждению авторов, должно стать осмысление в контексте постсоветского академического пространства прошлого, настоящего и будущего этнологического сообщества.

Свидетельством того, что подход к «профессии как образу жизни ученого» (именно так сформулировали свою генеральную тему авторы сборника) уже преодолел этнические границы, является широкая география участников проекта — в сборнике мы увидели имена представителей различных наук социогуманитарного цикла не только России, но и Украины, Беларуси, Армении. Это само по себе должно приблизить академическое сообщество к решению ключевых проблем — обеспечения самосохранения, обновления круга исследовательских тем, возможности успешного развития в дальнейшем.

Речь идет не столько, говоря словами авторов, о поиске некоего идеального начала, абсолютной идеи культуры (С. 10), сколько о понимании — как это идеальное начало и идеальная идея зарождается, конструируется, накапливается, становится достоянием научного сообщества, им осмысливается, формулируется и в дальнейшем продуцируется. Ставится вопрос о критериях объективности и способах контроля со стороны исследователя над собственной творческой деятельностью. Авторы сборника ненавязчиво подводят своих коллег к еще одной проблеме — безусловной необходимости саморефлексии в рамках собственной дисциплины.

Такая широкая постановка проблемы позволила авторскому коллективу охватить достаточно разноплановые аспекты направления, метко названного В. Тишковым «этнография эт-

нографии» (цит. по: С. 13). В расширенном виде оно подано авторами сборника под названием «антропология академической жизни» (С. 16). Были выделены следующие основные темы: профессия как образ жизни ученого; проблемы формирования профессиональной идентичности; профессиональная этика и моральная ответственность этнографа перед объектом прикладных исследований; общественные трансформации и «кризис» науки; особенности частной стратегии выживания ученого в «трудные» времена; формирование и развитие научных идей и проектов в социокультурном контексте; мотивация выбора научной тематики; традиции и инновации, повседневный быт и праздничная культура, реалии и мифы, культы и кумиры, ритуалы и церемонии, иерархическое взаимодействие, статусные привилегии и символы академической жизни; гендерные проблемы академической жизни; проблемы единого постсоветского академического пространства; российская/советская/постсоветская академическая диаспора как международное культурное явление; опыт сохранения отечественных академических традиций в различных социокультурных средах; феномен научных экспедиций и неформальный экспедиционный дискурс; «фольклор» профессионального академического сообщества; влияние «поля» на формирование этнографического дискурса и на консолидацию профессионального сообщества; документы «субъективной» истории ученого как автоэтнографический источник.

Все это разнообразие научных подходов представлено авторским коллективом сборника в двенадцати статьях, сгруппированных в четырех разделах. Они охватывают ключевые вопросы «академической повседневности»: 1. Общественные трансформации и «кризис» науки (С. Соколовский, Э. Александренков, В. Шнирельман, Л. Четырова); 2. Феномен научных экспедиций и неформальный экспедиционный дискурс (Т. Щепанская, А. Пригарин, С. Рыжакова, О. Свешникова, А. Чубур, Ю. Чубур); 3. Научные проблемы музейной повседневности (Х. Турьинская, А. Кузнецов); 4. Фольклор научного этнологического сообщества (сценарий концерта, посвященного 70-летию профессора Е.П. Бусыгина); в приложении даны тезисы докладов секции «Антропология академической жизни».

Основной массив текстов предвосхищает раздел «Общественные трансформации и “кризис” науки». Слово «кризис», на мой взгляд, свидетельствует о том, что идея «создания независимой, негосударственной науки, свободного изъяснения мнений ученых» все более овладевает умами интеллектуальной элиты. Другой вопрос, что профессиональное сообщество все еще выносит на обсуждение исконно русские вопросы, правда,

несколько трансформированные временем: «Кому служить?», «Куда идти?» и «Могут ли ученые избежать ксенофобии?» Собственно, в самой постановке вопросов, еще и отдельной строкой, мне видится большая доля самоиронии. Ведь, как известно, тот, кто прибегает к иронии, ответ на вопрос уже нашел. В условиях, когда наука оказалась подверженной общественным настроениям и групповым интересам, авторы сборника, каждый по-своему, отстаивают единую позицию — в новых условиях «многоголосья» остаются неизблемыми принципы признания своей ведущей социальной роли, отход от практической целесообразности, приоритет моральных ценностей и обязательств.

Оригинальный взгляд на антропологию как научную дисциплину, социально и культурно обусловленную практику полевого исследования, традиций «поля» предлагает в своей статье «Символические репрезентации знания в неформальном дискурсе “поля”» Т. Щепанская. У меня, «полевика» с 25-летним стажем, перехватывало дыхание при чтении удивительно тонкой «вязи» деталей экспедиционной «повседневности». Невозможно было отделаться от ощущения, что повествования о случаях в «поле» были записаны с моих слов, а экспедиционный фольклор фиксировался в сообществах, членом которых была и я. Авторам раздела, посвященного «экспедиционному дискурсу», удалось главное — представить экспедицию не просто как форму практической организации процесса познания разнообразия культурных традиций, но как символическую моделирующую структуру. Благодаря ей из опыта повседневности, говоря словами Щепанской, «дистиллируется собственно “знание”». Ценность размышлений состоит в научном подходе к анализу экспедиционной деятельности как противопоставления «фольклорного» дискурса изучаемой среды академическому дискурсу, с дальнейшим переводом его в академический дискурс. Здесь хотелось бы обратить внимание и на другой не менее важный аспект: раскрывая *феномен* этнографической экспедиции, авторскому коллективу удалось ненавязчиво показать необыкновенную привлекательность одновременной причастности исследователя к двум разным средам — академической корпорации и сообществу изучаемой культуры (С. 144). Именно такие тексты надо писать для тех, кто еще только ищет себя в науке.

Статья С. Рыжаковой под интригующим названием «“Тело, разбросанное по земле”. Частная жизнь, профессиональная деятельность и полевая работа этнографа: к вопросу о соотношении этики и прагматики» вызвала у меня противоречивые чувства. Основное содержание эссе сводится к анализу особенностей «витального включения этнографа в исследуемую куль-

туру» (С. 162). Позитивным является сам факт обращения исследовательницы к прагматике полевой работы, а именно — тонкой материи моральной стороны деятельности этнографа с акцентом на проблемы, которые, как правило, не выносятся на всеобщее обозрение. Подкупает искренность размышлений автора (определенных ею как «исповедальная этнография»), точность передачи атмосферы «поля» и в целом — представленная глубина видения профессиональной деятельности этнографа с ювелирным очерчиванием ее специфики: «этнограф должен в какой-то мере принадлежать изучаемой культуре, но “принадлежать” не полностью, имея свободу передвижения, возможность действовать, вступать в контакты, создавать тексты, а в какой-то момент и удалиться» (С. 165).

И все же откровения автора, особенно строчки пространных писем «информантов», как оказалось, ее потенциальных «женитов», признание автора в том, что она — «привлекательный ресурс для множества индийских альфонсов», бесстрастный взгляд на личные отношения как на своеобразный «текст», который она смогла прочесть как этнограф-профессионал, вызывают внутреннее отторжение. Меня не оставляет ощущение, что с точки зрения морали позиция автора не бесспорна. Дискутировать о цене добытого в «поле» материала не буду (убеждение в его высокой ставке «проглядывает» во всех без исключения текстах сборника), как и оспаривать тезис о том, что ради погружения в *реальную* жизнь все средства хороши. Настораживает другое — о противоположной стороне, фактически своих соавторах, исследовательница говорит в третьем лице: *они (они нас читают; они нас играют)*. Я понимаю в какой-то мере эпатажный стиль изложения, но позицию автора не принимаю. Я думаю о другом: ученый-полевик должен быть, образно говоря, «ловцом жемчуга», а не искателем приключений. Как минимум для этого ему надо предоставить достойное финансовое обеспечение. Представляется, тогда работа полевика стала бы и достойной, и безопасной.

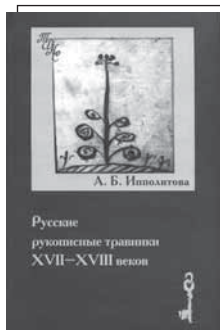
Блок статей объединяет проблема «повседневностей» — археологических экспедиций и музейной (лабораторной) деятельности. Они гармонично вписались в структуру сборника, подтверждая междисциплинарный характер издания. Необходимый акцент в общий контекст сборника внесла статья Х. Турьинской «Автоэтнографические источники в научном наследии В.В. Богданова». На примере полной драматизма жизни и творчества уникальной личности, «чернорабочего науки» Владимира Владимировича Богданова автору удалось убедить в главном: профессия может стать образом жизни. Современному музейному сообществу, описанию его повседневной жизни посвящена статья А. Кузнецова «Антропология

современного провинциального музейного сообщества». Она показала, что тема образа жизни и образа мыслей исследователей и хранителей природных и человеческих «артефактов», действующих в рамках и по правилам собственных «лабораторий», является весомой составной антропологии науки.

«Фольклор» научного этнологического сообщества представлен сценарием юбилейного концерта, посвященного 70-летию известного этнографа, доктора исторических наук профессора Казанского университета Евгения Прокопьевича Бусыгина, а фактически — остроумным театрализованным попури-капустником. Он достойно завершает аналитическую часть издания, возвращая читателя в близкие-далекие времена, когда в своих наставниках — «любимых профессорах» — студенты видели «титанические фигуры». Это тоже неотъемлемая часть академического образа жизни как совокупности ритуалов и повседневных практик.

В заключение лишь отмечу — идея разработки направления «антропология академической жизни» оказалась и продуктивной, и заразительной. Среди моих украинских коллег-этнологов наметился интерес к личным архивам. Похоже, ищем «академический фольклор»...

Елена Боряк



Ипполитова А.Б. *Русские рукописные травники XVII–XVIII вв.* М.: Индрик, 2008. 512 с.; илл.

Я давно слежу за публикациями А.Б. Ипполитовой, а также выступал официальным оппонентом ее кандидатской диссертации «Русские рукописные травники XVIII в.», защищенной по специальности «Теория и история культуры» (исторические науки) [Ипполитова 2004]. Тему нельзя назвать совершенно неизученной, однако наличие

обильного неопубликованного материала, содержащего значительное количество не введенной в науку информации, настоятельно требует дальнейшей разработки проблематики.

Исследователи советского периода считали возможным обращаться к подобным материалам как к источникам по истории естественно-научных знаний. Их значение для изучения народной медицины (знахарства) и тем более верований, суеверий оставались за пределами сферы интересов академической науки. Автор книги характеризует ее как фольклористическую по преимуществу («исследование фольклора и этноботаники»). На мой взгляд, такая характеристика не вполне точна, хотя наличие у автора специальной фольклористской подготовки в данном случае является важным плюсом рецензируемой книги. Точнее было бы сказать, что перед нами классическое исследование историко-филологического плана в самом традиционном смысле слова, основанное на введении в научный оборот и комментировании рукописных текстов.

А.Б. Ипполитова выступает как младший представитель «второй волны» исследователей, возродивших традицию изучения рукописных «суеверных» текстов в отечественной науке. Первая волна подобных исследований, которые можно с полным правом назвать пионерскими, хотя они и восходят к традиции, начавшей формироваться еще в дореволюционное время, отмечена известным недостатком профессионализма (в сфере изучения текстов указанного типа), обусловленным существованием длительного периода полной приостановки изучения таких материалов в нашей стране. Я имею в виду публикации Н.Н. Покровского [1975; 1979; 1987] и его учеников; С.П. Мордовиной и А.Л. Станиславского [1982], а также ряд собственных работ, написанных самостоятельно [1977] или совместно с А.А. Туриловым [1985; 1986]. А.Б. Ипполитова выступает уже в следующем, более подготовленном эшелоне исследователей, сделавших изучение суеверных рукописных текстов своей основной специальностью, таких как Е.Б. Смилянская [2003] и А.Л. Топорков [2005].

Не бесспорная принадлежность работы А.Б. Ипполитовой к фольклористике — вопрос, имеющий прямое отношение к дилемме устная словесность — письменный текст. В источниковедческом плане эта дилемма выглядит достаточно противоречиво. То, что исторически устная словесность древнее письменной традиции, — очевидно, поскольку сама письменность возникает значительно позже, чем речь. С другой стороны, древнейшие сведения об устном народном творчестве — письменные тексты. Это относится и к русскому фольклору (достаточно вспомнить песни, записанные для Ричарда Джем-

са в первой половине XVII в., и сборник Кириши Данилова), и к древнейшим свидетельствам о фольклоре других народов (Древняя Месопотамия, Египет, Индия, Китай, классическая Античность и т.д.). Очевидно, что историческое изучение фольклора без обращения к письменным текстам невозможно; чистота жанра собственно фольклористических штудий может препятствовать сравнительно-историческому и литературоведческому исследованию феноменов, полностью или частично фольклорных по своему происхождению.

По отношению к изучаемым А.Б. Ипполитовой памятникам — рукописным травникам — эта дилемма приобретает особую остроту и запутанность. Дело в том, что сам жанр травников по своему происхождению на Руси имеет явно заимствованное, книжное происхождение, и если часть этих текстов отмечена в большей или меньшей степени простонародным, фольклоризирующим характером, то этот последний является вторичным, как бы «наносным» (по отношению к исходным образчикам жанра в рамках восточно-славянской традиции). Для текстов оккультного характера смешение культурных заимствований (зачастую весьма экзотического происхождения) с чертами туземной доморощенной традиции — явление достаточно распространенное. «Языческий», «народный» пласт представленный может оказаться в ряде случаев вторичным, а отнюдь не первичным, исконным в той или иной группе памятников, что представляется весьма важным для изучения таких феноменов, как «народное православие», «двоеверие» и т.п.

Книга А.Б. Ипполитовой, представляющая собой расширенный вариант ее кандидатской диссертации, представляется исключительно фундаментальным и зрелым исследованием, в котором собран и систематизирован чрезвычайно объемный материал. Исследовательница использует 78 списков травников (в том числе 7 опубликованных) и 10 списков лечебников, содержащих статьи о растениях. Два травника XVIII в. были опубликованы А.Б. Ипполитовой в сборнике «Отреченное чтение в России XVII–XVIII вв.» [Ипполитова 2002а; 2002б], три приведены в приложении к рукописи ее диссертации и еще три в настоящее время подготовлены к изданию. Объем книги 512 стр., библиографический список насчитывает более 400 наименований, в том числе 39 на иностранных языках. Текст сопровождают 26 цветных иллюстраций, воспроизводящих старинные изображения растений, образцы почерков и др.

Книга состоит из введения, заключения, трех частей, подразделяющихся на главы, и весьма ценных для читателя приложений. Первая часть «Изучение “народных” травников: историография, источники, методы» включает главы «Из истории

публикации и изучения», «Методика изучения. Типология списков», «Археографические особенности “народных” травников», «Травники в следственных делах XVIII в. о колдовстве» и «Принципы описания растений в “народных” травниках». Вторая часть «Представления о растениях» состоит из глав «Время и ритуалы сбора растений», «Поверья о “царских”, “материнских” и “святых” растениях», «Поверья о разрыв-траве» и «Поверья об антропоморфных растениях». Часть третья «Функции растений в травниках» включает главы «Представления о болезнях и их лечении», «Хозяйственные проблемы», «Взаимоотношения с нечистой силой», «Социальные отношения», «Взаимоотношения полов. Проблемы семьи и брака», «“Профессиональная” магия» и «Обретение бытовых и сверхъестественных способностей». В приложениях даны подборки статей травников, характеризующих «царские» растения, растения, наделяемые свойствами разрыв-травы, и, наконец, антропоморфные растения. Кроме того, в приложения вынесены ценные указатели: указатель использованных текстов о растениях, указатель фитонимов, состоящий из двух частей — «Фитонимы травников и лечебников» и «Диалектные и иноязычные фитонимы», указатель научных и литературных названий растений и указатель имен. Как видим из оглавления, материал четко и строго систематизирован, при этом в структуре книги очень полно отражена специфика рассматриваемых текстов.

В монографии А.Б. Ипполитовой исследуется один из наиболее интересных жанров русской естественно-научной книжности — «народные» рукописные травники XVII—XVIII вв. Они рассматриваются как уникальный культурный феномен, как тип текста на стыке книжной и устной традиций, специфический тип текста, в котором отражены суеверные представления, связанные с растениями, типичные для русского и общеевропейского постсредневекового менталитета. Большое число травников, сохранившихся в рукописных собраниях и архивах, свидетельствует об их исключительной популярности в народной культуре вплоть до начала XX в.

Автор рассматривает в качестве своей основной задачи характеристику фрагментов «народной картины мира», отраженных в травниках: представления о реальных и фантастических растениях, их роли в повседневной жизни. Вместе с тем на основе применения междисциплинарного подхода, включающего методы исторической антропологии и этнолингвистики, А.Б. Ипполитова предпринимает новаторскую попытку охарактеризовать генезис, содержание, мотивы и структуру травников как специфических текстов в их связи с житейскими проблемами.

Избранные хронологические рамки исследования — XVII–XVIII вв. — объясняются тем, что «народные» травники появляются в начале этого периода, причем пик их распространения падает на XVIII в. В этих хронологических пределах удается сопоставить возникновение, бытование и трансформации памятников с культурными и иными особенностями переходного периода истории России.

Первая часть монографии «Изучение “народных” травников: историография, источники, методы» включает общую характеристику «народных» травников. Автор рассматривает историю исследования и публикации источников, предлагает методику их исследования, впервые предпринимает попытку продемонстрировать их разнообразие. Анализ археографических особенностей изученных списков травников позволяет сделать выводы о месте и значении этих текстов в ряду других памятников книжности, сфере их бытования и географии распространения. Дополнительная информация об этом содержится в следственных делах о колдовстве, которые также рассмотрены в этой части книги.

Во второй части книги «Представления о растениях» рассматриваются представления о флоре применительно к текстам травников, а также связывавшиеся с ними символика, магические практики и фольклорные мотивы. Объектом анализа здесь являются рекомендации по сбору растений. Три группы растений рассматриваются особо. Они выделены по критериям внешнего вида, названия и функций. Вся эта проблематика дается в широком культурно-историческом контексте начиная с эпохи древности вплоть до современных фольклорно-этнографических данных. В результате удастся проследить историю и трансформации ряда мотивов во времени и пространстве.

Травники создавались как практические руководства, так что они предоставляют прекрасную возможность пролить свет на повседневные интересы и нужды человека XVII–XVIII вв. Этой проблеме посвящена третья часть книги. Анализ свойств, приписывавшихся растениям, позволяет проследить такие черты культуры «молчаливого большинства», как отношение к медицинским, экономическим и профессиональным проблемам, гендерные и социальные стереотипы, представления о сверхъестественном.

Актуальность исследования обусловлена привлечением большого рукописного материала. Исследовательницей использованы рукописные собрания Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Праги, а также весьма широкий круг сравнительных материалов. Остается лишь подчеркнуть, что перед нами

редкий случай создания столь капитального исследования начинающим исследователем.

Ни одна книга, посвященная рассмотрению значительного блока источников, не может быть исчерпывающим исследованием — всегда остается место для дальнейшей работы, для других исследователей. Любое крупное исследование бесспорно не во всех своих частях, не во всех деталях.

На с. 26 А.Б. Ипполитова сочувственно цитирует и даже выделяет курсивом высказывание Ф.И. Буслаева о том, что во многих травниках «иностранные со своеземным до того слились, что то и другое составляет одно нераздельное целое». Эта цитата, по-видимому, является своего рода оправданием позиции, при которой проблема иноземного генезиса многих статей травников в известной мере выносятся за скобки.

Между тем, несмотря на отмеченное Буслаевым «слияние» в русских «народных» травниках, бросается в глаза наличие явно иноязычных названий («симтарина», «левуппа», «ливакум», «синдринкт»). В некоторых случаях сообщается об экзотическом происхождении отдельных растений. Наконец, можно и нужно искать инокультурные параллели и источники отдельным статьям о растениях. В других случаях в источниках встречаются прямые указания на местное происхождение отдельных статей лечебников и травников. Это, например, рецепт лекарства от «кнута московского», упоминание растения, произрастающего в Чертолье (местность в пределах старой Москвы). Безусловно, вопрос крайне сложен и запутан, он не может быть в короткое время решен в полном объеме. Но продвигаться в этом направлении все же необходимо. До некоторой степени и сама А.Б. Ипполитова предприняла усилия в этом направлении; весьма полезен и содержателен составленный ею указатель фитонимов.

Сюжет «обрусения» иноземных по первоначальному происхождению травников, деградация и мифологизация имевшегося в оригиналах рационального содержания — интереснейший феномен. Он довольно давно отмечается исследователями в области сравнительного литературоведения. Об этом писал в своей магистерской диссертации, защищенной в 1872 г., А.Н. Веселовский [1921: 11–12], считавший возможным рассматривать историю пресловутого «двоеверия» как деградацию мира христианских легенд, а не нечто, восходящее к языческому прошлому. О том же в несколько ином ключе писал Г. Науман в своих работах, посвященных «сниженным культурным ценностям». По существу тот же мотив может быть обнаружен еще в построениях Макса Мюллера о «болезни языка» и о «за-темнении» первоначально ясных понятий как основе мифо-

творчества. Материалы русских травников и содержание рассматриваемой книги наглядно показывают, что этот процесс деградации был одновременно весьма плодотворным, во всяком случае в плане формирования художественных образов и литературных сюжетов.

На мой взгляд, самая важная и ценная часть проделанной на сегодняшний день работы А.Б. Ипполитовой по изучению травников — подготовка для публикации комментированного научного издания восьми текстов. Между тем в рассматриваемую книгу эти публикации не вошли. Вероятно, автор не сочла возможным включать их в состав книги, которая и так уже велика по объему, поскольку два из них были опубликованы ранее, три включены в текст рукописи диссертации, а три оставшихся — сданы в печать. Так или иначе, отсутствие полных текстов травников в рецензируемой книге снижает ее ценность и делает аргументацию многих положений менее наглядной. В самом деле, несмотря на компилятивный, мозаичский состав травников, полноценной единицей для их источниковедческого изучения является полный текст памятников, а не антологии избранных статей из разных рукописей. Только анализ полного текста травника может дать сколько-нибудь ясное представление о соотношении в нем туземного и заимствованного. Чтобы убедиться в правомерности утверждений А.Б. Ипполитовой о соотношении «народного» и «книжного» в разных типах травников, читателю будет необходимо самому обратиться к рукописным собраниям.

Еще одна претензия или, скорее, вопрос, причем адресованный даже не лично А.Б. Ипполитовой, а всему сообществу славистов — форма, в которой должны передаваться в научных изданиях рукописные тексты церковнославянской традиции. До последнего времени за норму принимаются требования, выработанные сотрудниками отдела древнерусской литературы; причем для позднесредневековых памятников используется правописание, приближенное к современному (без букв «ять», «и десятеричное» и др., без надстрочных знаков). Отчасти это было следствием издательских возможностей советской эпохи. В настоящее время компьютерные технологии позволяют воспроизводить старославянские тексты буква в букву, с надстрочными знаками. На это можно возразить, что такие детали важны лишь для специальных филологических публикаций. Но дело в том, что публикации травников могут привлекать к себе интерес специалистов в области лексикологии, акцентуации. Между тем такие специальные тексты, как травники и лечебники, содержат множество специфических терминов, многие из которых являются заимствованными. Эти термины могут иметь в рукописи знаки ударения, которые при

упрощенной публикации пропадают. Иллюстрации в книге А.Б. Ипполитовой свидетельствуют, что знаки удара в исследованных ею рукописях наличествуют. Таким образом, создается ситуация, при которой, несмотря на существование публикации некоего старинного текста, специалисту-филологу непременно нужно будет все же обращаться к рукописи, а возможно, приняться за переиздание текста с более точной передачей правописания рукописи.

Несмотря на возможность предъявления автору книги ряда критических претензий, работу А.Б. Ипполитовой нельзя не отметить как выдающуюся и по охвату материала, и по систематичности изложения и тщательности анализа. Подзаголовок книги «Исследование фольклора и этноботаники» я бы заменил на более широкий «Историко-филологические и культурно-антропологические исследования». Книга, безусловно, представляет большой интерес для специалистов в нескольких областях знаний, учащейся молодежи и читателей, интересующихся проблематикой истории отечественной культуры.

Библиография

- Веселовский А.Н.* Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине / Веселовский А.Н. Собр. соч. Пг.: Изд. Отд. русс. яз и словесности РАН, 1921. Т. 8. Вып. 1. 416 с.
- Ипполитова А.Б.* Травник начала XVIII в. // Отреченное чтение в России XVII–XVIII вв. / Отв. ред. А.Л. Топорков и А.А. Турилов. М., 2002а. С. 420–440.
- Ипполитова А.Б.* Лицевой травник конца XVIII в. // Отреченное чтение в России XVII–XVIII вв. / Отв. ред. А.Л. Топорков и А.А. Турилов. М., 2002б. С. 441–464.
- Ипполитова А.Б.* Русские рукописные травники XVIII в. как феномен культуры. Автореф. дис. ... к.и.н. М., 2004.
- Мордовина С.П., Станиславский А.Л.* Гадательная книга XVII холопа Пимена Калинина // История русского языка: памятники XI–XVIII вв. М.: Наука, 1982. С. 321–336.
- Покровский Н.Н.* Материалы по истории магических верований сибиряков XVII–XVIII вв. // Из истории семьи и быта сибирского крестьянства XVII — начала XX в. Новосибирск, 1975. С. 110–130.
- Покровский Н.Н.* Исповедь алтайского крестьянина // Памятники культуры. Новые открытия: Ежегодник 1978. Л.: Наука, 1979. С. 49–57.
- Покровский Н.Н.* Тетрадь заговоров 1734 г. // Научный атеизм, религия, современность. Новосибирск, 1987. С. 239–266.
- Смилянская Е.Б.* Волшебники. Богохульники. Еретики. Народная религиозность и «духовные преступления» в России XVIII в. М.: Индрик, 2003. 484 с.

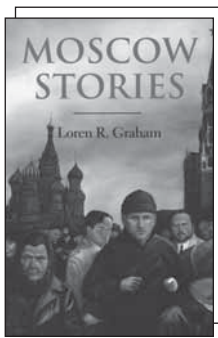
Топорков А.Л. Заговоры в русской рукописной традиции XV–XIX вв. М.: Индрик, 2005. 480 с.

Турилов А.А., Чернецов А.В. Отреченная книга Рафли // Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР. Л.: Наука, 1985. Т. XL. С. 260–344.

Турилов А.А., Чернецов А.В. О письменных источниках изучения восточнославянских народных верований и обрядов // Советская этнография. 1986. № 1. С. 95–103.

Чернецов А.В. Об одном рисунке Радзивилловской летописи // Советская археология. 1977. № 4. С. 301–306.

Алексей Чернецов



Loren R. Graham. *Moscow Stories.* Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2006. 307 p.

Воспоминания как пространство живой Истории

Книга известного американского историка науки Лорена Грэма естественным образом вписывается в несколько историко-культурных и собственно литературных парадигм. В самом общем виде — в парадигму традиционной мемуаристики и литературы путешествий. Автор воссоздает историю своих многочисленных посещений СССР—России и путешествий по стране в 1960–2000-х гг. В более узком смысле (однако в пределах той же парадигмы) книга Грэма продолжает традицию воспоминаний *иностранных* о пребывании в России. Наконец,

Ольга Ростиславовна Демидова

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург
ord55@mail.ru

она занимает достойное место в ряду посвященных России воспоминаний *американцев*¹.

В то же время книга продолжает давнюю традицию литературы приключений, ожидающих автора-рассказчика на жизненном пути («годы странствий») и поиска, в том числе поиска себя и своего места в мире, Смысла и Истины, тем самым естественно соединяя в себе признаки «романа большой дороги»² и «романа воспитания». В первой главе герой — молодой человек, аспирант, стоящий в самом начале профессиональной карьеры и своего первого путешествия в СССР (осень 1960 г.). В последней главе он признанный в своей области специалист, размышляющий о пройденном за пятьдесят лет собственном пути и о пути, который прошли за эти годы две страны. Осмысливая свой личный опыт и опыт отношений между странами, которые складывались в режиме притяжения-отталкивания, но основывались на взаимном интересе двух народов и стремлении узнать и понять друг друга, Грэм подчеркнуто объективно, с известной долей юмора и неизбежной в таких случаях ностальгией анализирует пройденный путь с точки зрения «из будущего в прошлое».

Наконец, некоторые главы «Московских историй»³ читаются как интеллектуальный и/или политический детектив и даже как шпионский роман. Шпионская тема актуализируется во второй части книги «Student Days at Moscow University» в связи с известной московской гостиницей «Метрополь» (С. 92 и сл.) и детально разрабатывается в четвертой части, носящей «говорящее» название «Intelligence, the Cold War, and Security Concerns». Действие разворачивается как на советской, так и на американской территории; в первом случае автору приходится уходить от слежки КГБ, проявляя завидную выносливость и чуда изобретательности в полном соответствии с законами

¹ Сам автор в предисловии выражает уверенность в том, что его книга — одно из немногочисленных личных воспоминаний о «русском опыте», написанных американским университетским ученым, специализирующимся по «русскому вопросу», и единственное, охватывающее столь длительный период времени (С. IX–X).

² В этом смысле весьма показательно самое начало книги: автор, высаженный из поезда Хельсинки–Москва, оказывается в прямом и переносном смысле «на большой дороге» и в сакраментальной ситуации «выбора пути».

³ Возможен и другой вариант перевода — «Московские рассказы»; однако «истории» как будто выносят в центр внимания собственно произошедшее — то, что приключалось с автором; тогда как «рассказы» призваны привлечь внимание скорее к тому, как о произошедшем рассказано; оба варианта имплицитно заложены в авторском названии, поскольку книга в целом представляет собой рассказы автора о его приключениях, т.е. и события как таковые, и фигура рассказчика, и стратегии повествования, выбираемые им в соответствии с предметом рассказа, представляются одинаково значимыми. Грэм выступает и как участник событий, и как наблюдатель — и в целом успешно преодолевает заложенную в такой позиции амбивалентность, см. авторское утверждение: «Антропологи говорят о заложенном в различии позиций участника и наблюдателя событий противоречии/конflikте. Я выступал в обеих ролях» (С. X).

жанра (выпрыгивать в окно, запутывать следы и пр.); во втором — противостоять попыткам ФБР сделать его участником своих «операций».

Как указывает Грэм в предисловии, он писал книгу «не только о России», но «и об американцах и о событиях американской жизни последних пятидесяти лет» (С. X). При этом «американское» естественным образом выступает неким задающим оптику восприятия фоном для «русского»: свое неизбежно становится призмой для восприятия чужого. Авторская установка определила принципы организации материала. С точки зрения внешней структуры «Московские истории» построены как «текст в тексте»: собственно американские главы образуют рамку, в которую заключены главы советские–российские¹. Однако внутренним организующим принципом, сквозным для всего текста, становится принцип интертекстуальности, эксплицированный на различных уровнях: общекультурном, идеологическом, профессиональном. Вероятно, не в последнюю очередь поэтому одним из центральных концептов книги становится концепт мифа, онтологическим и экзистенциальным основанием которого является представление о Другом как о Чужом и чуждом. Автор неоднократно возвращается к той восходящей к глубоко укоренившимся культурным стереотипам мифологии, которая была неизменной составляющей в отношениях между двумя странами, народами и их отдельными представителями. Полярные варианты экспликации этой мифологии — бытовавший в американском сознании образ СССР и русских (С. 19, 25, 47, 104 и мн. др.) и представления советских граждан об Америке и американцах (С. 223 и след.): в обоих случаях противоположная сторона представляла в выраженной гротескной форме² и в пределе была сводима к двуединому Образу Врага.

В этом смысле пространство воспоминаний становится протяженным во времени пространством живой Истории, в котором указанные стереотипы и основанные на них мифы складывались, проявлялись, подвергались (или не подвергались) осмыслению и преодолевались (или не преодолевались) и оказывали

¹ В первой части, названной «Learning to Learn about Russia and Communism», изложена американская предыстория российской эпопеи автора, которой суждено было растянуться на десятилетия; завершается книга замыкающей событийный и смысловой круг главой «Death of an Old American Communist». Особое место занимает глава «The Soviet Union and I Collapse Together», повествующая о едва не закончившейся трагически болезни автора, которая на фоне распада СССР приобретает в общем контексте некий символический смысл «смерти как возрождения».

² Слегка утрируя и намеренно заостряя образ, Грэм в девятой главе размышляет о науке в СССР и об эволюции своих представлений о ней, выстраивая две оппозиции: цивилизационную (жители Земли — жители внеземных цивилизаций) и культурную (Запад — Россия), отношения внутри которых, по его мнению, вполне сопоставимы — с учетом всех обстоятельств.

воздействие — иногда необратимое — на реальную жизнь реальных людей. Представленные в таком ракурсе, одинаково значимыми становятся судьбы исчезнувшего американского ученого Томаса Рихи (глава «The Scholar Who Disappeared»), обвиненного в убийстве президента Дж. Кеннеди Л.Х. Освальда (глава «Lennie in the Workers' paradise»), советского и российского политического и государственного деятеля А. Яковлева (глава «A Man of Fervor»), самого близкого московского друга автора переводчика Виталия (глава «The Fate of My Closest Russian Friend»), печально известного советского академика Т. Лысенко (глава «The Biggest Fraud in Biology») и многих других американцев и русских, ставших героями книги Грэма.

Предваряющее книгу посвящение — «Моим друзьям в России, которые так многому научили меня» — дает основание рассматривать «Московские истории» не только как дань прошлому, но и как долг, воздаваемый памяти тех, кого автор встречал в ходе своих странствий, осмысливаемых как «странствие земное», и кто становился частью его жизни. Некоторым из них (Лэнни Киршу, переводчику Виталию, А. Яковлеву, Н. Воронцову, П. Капице, вдове Н. Бухарина А. Лариной) посвящены специальные главы¹, однако значительное число персонажей появляются по ходу действия, и рассказ о них вписывается в общую ткань повествования, переплетаясь с рассказами о других событиях и людях и размышлениями автора о причинах и следствиях поступков, задающих Судьбу.

Концепт судьбы неразрывно связан с концептом выбора. Строго говоря, речь следует вести о последовательно протяженной во времени череде выборов, которые осуществляет личность в процессе своего становления. Каждый поступок есть результат принятого личностью решения, которое, в свою очередь, есть результат того или иного выбора, совершаемого в соответствии с индивидуальной ценностной шкалой и личной телеологией. Очевидно, что две последние не являются ни постоянными, ни независимыми величинами, поскольку формируются как ответ личности на вызовы, предъявляемые сообществом с нормативными для него системами целей и ценностей. Иными словами, личный выбор и, соответственно, личная судьба определяются (или задаются?) принятыми в социуме нормами, являясь, тем не менее, экспликацией самостоятельной рефлексии личности. Вышесказанное актуализирует проблему ответственности личности, переводя рассуждение в этическую плоскость.

¹ О последних трех речь идет в главах «An Ambiguous Funeral», «Peter Kapitsa, a Man of Many Parts» и «The Bravery of Bukharin's Widow».

В приложении к книге Грэма этическими вопросами первостепенной значимости становятся вопросы ответственности ученого и Учителя. И, может быть, наиболее сложный из них — вопрос о гражданской позиции исследователя и о «чистой науке», которой, перефразировав известное высказывание З. Гиппиус об искусстве, «не бывает», убедительных свидетельств чего более чем достаточно в истории науки в целом и в воспоминаниях Грэма в частности (см., напр., главы, посвященные Лысенко, Капице, советским ученым-отказникам и диссидентам, с одной стороны, и отношениям автора с ФБР — с другой). Предваряя развернутые в тексте размышления о профессиональной академической этике как неотъемлемой составляющей этики общечеловеческой, Грэм пишет в предисловии, что ему на протяжении многих лет, так или иначе связанных с Россией, неоднократно приходилось решать для себя вопросы этического порядка, как то: возможно ли (допустимо ли) для ученого сохранять политический «нейтралитет», оставаться незаинтересованным наблюдателем, мыслить независимо и быть при этом «благонадежным» гражданином своей страны (С. X–XI).

Впрочем, само содержание понятия «благонадежность» по отношению к обеим сторонам оказалось далеко не таким устойчивым, каким представлялось автору в начале пути. За истекшие пятьдесят лет существенно изменились обе страны, изменились отношения между ними, многое пришлось переосмыслить и пересмотреть, и, пожалуй, единственно неизменными и выдержавшими проверку временем остались «дружба, любовь, вера и надежда» (С. 88), имеющие разную форму выражения у русских и американцев, но общечеловеческие в своих основаниях.

Ольга Демидова



Иванов Ю.М. *Социальная история России в связи с трансформацией экономических отношений в конце XIX — начале XXI века.*
М.: Издатель Карпов Е.В., 2007. 465 с.

Рецензируемая книга довольно странная. Впрочем (что в немалой степени в связи с расцветом Интернета и упадком читательской активности), среди новых книг на моем столе появляется все больше «странных книг». В большинстве своем они довольно хороши, правдивы, интересны, общественно нужны, но вот кто их прочтет, какое они окажут воздействие на узко профессиональную читательскую аудиторию — неясно, ибо тираж их — 200, 300, в лучшем случае 500 экземпляров. Данная книга издана автором на собственные небольшие средства, и тираж ее — 150 экземпляров. То есть на каждый миллион (!) россиян — один экземпляр. Даже если каждый экземпляр прочтут 6–7 человек (что скорее всего не случится), все равно общее число читателей не превысит тысячи. Это капля в море.

Правда, никто еще достоверно не подсчитал, откуда больше пополняется объем воды в море — то ли от сотен впадающих в него больших и полноводных рек, то ли от мириадов падающих в него из облаков капель.

Тема книги достаточно полно раскрыта в ее названии, и теми же словами автор обозначает свою научную специализацию. Социальная история — это не этнология и не культурная антропология, и я, специализируясь именно в этих дисциплинах, вряд ли взялся бы за рецензирование этой книги, если бы в тексте ее не имелось значительного, на мой взгляд, вполне этнографического

компонента. Это встречающиеся на протяжении всей книги хорошо документированные сведения об образе и уровне жизни народа России, прежде всего русского трудового народа, рабочих и крестьян. Именно на этих сведениях я в основном и сосредоточиваюсь при обзоре данной книги, хотя о ее основной, социально-исторической, составляющей тоже следует сказать несколько слов.

Книга разделена на пять глав по хронологическому принципу: «На пути свержения царизма» (С. 18–88) — конец XIX в. и до 1917 г., «От попыток штурмовать небо к земным обескураживающим заботам» (С. 89–148) — 1917–1921 гг., «В большевистских тупиках нэпа» (С. 149–227) — 1921–1927 гг., «В сталинском “раю”» (С. 228–358) — 1928–1953 гг., «От тоталитаризма к рынку» (С. 359–438) — 1953–2000 гг.

Следовательно, сто с лишним лет российской истории в книге заняли несколько менее полутысячи страниц, из них десятилетнему периоду революции и нэпа отведено 140 страниц, 25-летнему периоду сталинизма — еще 130 страниц, а всему, что до и после, вкупе с введением и заключением — менее 200 страниц, т.е. существенно менее половины объема книги. Таким образом, книга эта могла бы с еще большим правом называться «Социальная история ленинско-сталинской России».

Новизна рецензируемой книги относительна. Значительную часть текста, нередко более половины его, составляют пространные цитаты из уже опубликованного материала, отчасти из обзорных работ и сводок, отчасти из историко-публицистических книг, по жанру подобных рецензируемой. Собственно архивные материалы, впервые включенные автором в научный оборот, также присутствуют, но их удельный вес относительно невелик. Это в основном материалы из фондов ГРАСПИ, главным образом касающиеся 1920-х гг. Впрочем, наиболее важные и оригинальные части книги относятся, как уже отмечалось, как раз к данным этого периода.

То, что мы узнаем из книги Ю.М. Иванова, производит глубокое впечатление. Собственно, все это было известно и раньше. Ю.М. Иванов не делает никаких открытий, почти все его данные взяты из ранее опубликованных, хотя нередко и малоизвестных источников. Но там они были рассеяны среди прочей информации, а здесь, пожалуй, впервые в отечественной литературе даны в концентрированном виде. Одно дело, когда мы проскальзываем в тексте мимо замусоленного штампа «нечеловеческие условия труда и быта». Другое дело, когда на ряде конкретных примеров с фактами и цифрами показано, в чем именно состояли эти нечеловеческие условия.

Особую важность такой показ приобретает в связи с тем, что все меньше становится людей, которые живы и по личному опыту помнили бы ужасные будни России между Первой и Второй мировыми войнами. Парадоксально, но даже те, кто их еще помнит, по разным причинам хочет их забыть или смотреть на них сквозь розовые стекла. Современный же россиянин формирует свой образ этих лет по тогдашним оптимистично-бодрым кинофильмам, художественным и деланно документальным, или по столь же бодрой живописи «соцреалистического» стиля.

Я почти ровесник автора (я родился в 1932 г.) и фрагментарно, но в целом очень неплохо помню ситуацию 1930-х гг. Многого запечатлелось в памяти как бы «фотографически», и только сейчас, «прокручивая» отпечатавшееся, я понимаю подлинный смысл увиденного и услышанного. Безусловно, по ряду причин положение в Грузии 1930-х гг. было гораздо лучше, чем в Центральной России (это всегда было так, кроме кризисных 1990-х гг.), в частности, помню рассказы людей, нередко подростков, сумевших бежать в Грузию от украинско-южнорусского голодомора начала 1930-х гг. и тем спасших свою жизнь. И, тем не менее, сопоставляя воспоминания детства со свидетельствами, собранными в книге Ю.М. Иванова, я верю, что в них нет преувеличений.

Тяготы, обрушившиеся на наших отцов и дедов в Гражданскую войну и в ленинско-сталинскую эпоху советского бытия, были продолжением тягот, вызванных Первой мировой войной. Даже продрозверстка, важнейший элемент т.н. «военного коммунизма», не была чисто большевистским изобретением. Попытки ввести ее имели место еще в 1916 г. (С. 86), но из-за слабости и нерешительности царского режима большого успеха не имели. Большевики лишь довели эту идею до ее крайнего практического воплощения. На протяжении почти всей первой половины XX в. основная масса трудящегося населения России, как это можно видеть по приводимым в книге цифрам, помимо периодических и локальных пароксизмов голода испытывала неуклонное понижение качества жизни, выражавшееся в снижении общей покупательской способности и конкретной заработной платы рабочих, обнищании и ограблении крестьянства, изъятии все большей доли прибавочной стоимости и даже немалой части жизненно необходимого продукта, и как результат — в возрастающем ухудшении питания, все большем недоедании и полуголодном существовании трудящихся масс. Все это не общие слова, а достоверные цифры (см. с. 134, 166, 172, 207, 211, 223, 250, 305, 309, 312, 329).

Как уже говорилось, и данные, и анализ Ю.М. Иванова относятся в основном только к собственно Европейской России,

отчасти, хотя и в меньшей степени, к Сибири, но не затрагивают ни Кавказа, ни Средней Азии. Мои полевые данные относятся в основном к республикам южного Кавказа, прежде всего к Армении. Уровень жизни в Армении всегда был несколько ниже, чем в Грузии, однако несомненно выше, чем в Центральной России. Тем не менее и мои полевые данные говорят в основном о снижении уровня жизни армянского крестьянства в годы советской власти, не говоря о последствиях ВОСР и Гражданской войны, и реальный перелом в сторону улучшения качества жизни, сначала частного, а с 1970-х гг. и кардинального, наметился лишь с середины 1950-х гг., практически совпав со смертью И.В. Сталина. Он выразился не только в улучшении питания, но и наиболее ярко в широко развернувшемся жилищном строительстве, как в городах, так и еще более в сельской местности.

Крестьянское жилье, в отличие от хлебных запасов, нельзя и не имеет смысла реквизировать, так что, несмотря на все связанные с ВОСР и Гражданской войной разрушения, на протяжении 1920–1930-х гг. оно либо сохранялось в дореволюционном виде, либо, если и менялось, то скорее в сторону усовершенствования, правда, не очень существенного. Конечно, это не относилось к раскулаченным и прочим «спецпереселенцам», которые выбрасывались в совершенно необжитые места, где им предстояло либо соорудить себе наспех самое примитивное жилье, либо погибнуть.

Зато жилищные условия пролетариата, весьма убогие и в дореволюционной России, после ВОСР в течение 1920–1930-х гг., как это показано на конкретных цифрах, неуклонно ухудшались, равно как и условия труда, и его напряженность. То, что описано в рецензируемой книге, — не тенденциозное отношение автора, а сущая правда. Огромный приток рабочей силы из нищавшей деревни в промышленные города вплоть до середины 1950-х гг. не сопровождался сколько-нибудь заметным жилищным строительством, что вело ко все возрастающей скученности проживания рабочих и их семей. «Уплотнение» квартир «буржуазии», так ярко обрисованное М. Булгаковым в конфликте тов. Швондера с профессором Преображенским, велось в основном для обеспечения жильем управленческого аппарата, служащих среднего звена, на изменение жилищных условий рабочих оно никак не влияло.

Соответствующие данные отражены в рецензируемой книге на с. 167, 208–210, 302–305. Здесь же и на с. 314, 321 и др. можно найти и описание условий фабрично-заводского труда. Особенно важно отметить данные, характеризующие одну из важнейших особенностей советской системы эксплуатации — ис-

пользование женского труда на самых тяжелых работах, что, естественно, прямо сказывалось на детородной функции женского организма. До сих пор ведутся споры, сколько советских людей погибло на фронтах ВОВ и в сталинском ГУЛАГе. Но не помню, чтобы где-либо поднимался вопрос, сколько детей не досчитался русский народ в те же годы в результате подрыва здоровья и детородности работающих женщин, притом в самом фертильном возрасте. Постановку этого вопроса также следует считать заслугой автора.

Эти и другие реальные обстоятельства построения «реального социализма», как правило, можно найти во многих публикациях последних полутора десятилетий, откуда, собственно, в основной своей массе они и взяты. Но, пожалуй, еще нигде они не освещались в столь концентрированной форме. По этой причине рецензируемую книгу желательно было бы прочесть миллионам российских граждан. Увы, если только не будет массового переиздания, в действительности прочтут ее лишь несколько сот, в крайнем случае несколько тысяч читателей. Но этнографам, профессионально занятым изучением быта русского народа, прочесть ее следует обязательно.

В книге есть и немало других представляющих интерес для широкого читателя аспектов. Это свежий взгляд на личностные и социальные установки лидеров ВОСР — Ленина, Сталина, Троцкого и других, на перипетии и историю их взаимоотношений.

Немалый интерес представляет и новый подход к оценке выдающихся военачальников советской эпохи, в частности критика переоценки роли Г.К. Жукова и недооценки Тухачевского и Рокоссовского; освещение агрессивно-репрессивных действий советского режима в странах Балтии, Польше, Венгрии, Чехословакии и сопротивления им народов этих стран и др. Но останавливаться на этом подробнее в формате рецензии невозможно. Для данной рецензии большой интерес представили этнографо-антропологические аспекты книги, но вовсе не они составляют ее главное содержание. Основной пафос книги посвящен общей философии истории, и суть его состоит в следующем. В конкретных исторических условиях XX в. Россия, а вслед за ней в той или иной мере ряд других стран с преобладающим крестьянским населением стали ареной формирования особой общественно-исторической формации, получившей имя социалистической, т.е. формации, формирование которой было возможно, а в какой-то мере и неизбежно в странах именно такого типа, тогда как ее становление в развитых индустриально-капиталистических странах было невозможно.

Для этой формации было характерно немедленное и в дальнейшем все более углубляющееся разделение общества на два антагонистических слоя — трудовые рабоче-крестьянские массы и все более разбухающую и жиреющую за счет запредельной эксплуатации этих масс управленческую верхушку, которую Ю. М. Иванов во многих случаях обобщенно именует «директорат». В сущности, «директорат» у Иванова — это примерно то же, что «новый класс» у М. Джиласа или «номенклатура» у Восленского. Странно, что у Ю. М. Иванова ссылки на основные труды этих авторов отсутствуют. Главной задачей «директората» является превращение всего социума в некую «единую фабрику», внутри которой не остается места никаким остаткам рыночных отношений. Этим «социалистическая» формация отличается от фашистского корпоративного капитализма, где рыночные отношения, пусть и в жестко регулируемой форме, все же сохраняются. Соответственно и положение в нем трудящихся хотя и достаточно тяжело, но все же заметно лучше, чем при «социализме».

Последняя глава книги называется «От тоталитаризма к рынку» и посвящена последним десятилетиям существования СССР и постсоветскому периоду в истории России. Объективно показывая трудности и тяготы этого периода, автор в то же время стремится доказать их неизбежность (С. 424–425). Он безусловно положительно оценивает основные аспекты деятельности Б. Н. Ельцина и в особенности В. В. Путина как его активного преемника в деле изживания остатков тоталитаризма и проведения рыночных реформ. Соответственно столь же позитивную оценку получает и движение «Единая Россия». Можно соглашаться или не соглашаться с этими оценками, но авторская позиция именно такова.

Завершает книгу раздел «Вместо заключения — марксизм умер, да здравствует марксизм!». Собственно, как пишет Ю. М. Иванов (С. 455), «когда мы говорим, что марксизм умер, то подразумеваем, что умерли его представления о тоталитарном социализме, кратковременная в масштабах истории жизнеспособность которого определялась существованием отсталых аграрных стран». В заключительном абзаце книги говорится (С. 460): «Переход к коммунизму, о котором в лучшем случае у нас говорят как о деле отдаленного будущего, сегодня происходит на наших глазах. <...> Переход осуществляется в условиях рынка, порождающего общественное производство. <...> Отмеченные процессы, как мы показали, невозможно понять без наработок Маркса и Энгельса, посвященных производству и распределению прибавочной стоимости. С этой точки зрения марксизму предстоит еще долгая жизнь».

Как рядовой читатель, с этим тезисом я склонен согласиться. Но задача комментировать его лежит уже за пределами моей профессиональной компетентности.

Сергей Арутюнов